БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ

УСАДЬБА ЛАПИНЫХЪ

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00324849 9

ИЗД. З. И. ГРЖЕБИНА
ПЕТЕРБУРГЪ-БЕРЛИНЪ
1922

Б
665

363

Zaĭtsev, Boris Konstantinovich

БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ

Sobranie sochinenii

УСАДЬБА ЛАНИНЫХЪ

И ДРУГІЕ РАЗСКАЗЫ

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

7—12 тысяча

[КП. 3]

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИНЪ — ПЕТЕРБУРГЪ — МОСКВА
1922

PG
3470
Z23
1922
Kn. 3
572717
18.11.53

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten.

Copyright 1922 G.B.S. Grschebin Verlag, Berlin.

УСАДЬБА ЛАНИНЫХЪ

УЧАСТВУЮЩІЕ:

Ланинъ, Александръ Петровичъ, помѣщикъ, старикъ.
Елена, старшая дочь.
Ксенія, младшая.
Николай Николаевичъ, мужъ Елены, инженеръ.
Наташа, дочь Елены отъ перваго брака, 16 лѣтъ.
Фортунатовъ, Діодоръ Алексѣевичъ, магистрантъ.
Марья Александровна, его жена.
Евгеній, студентъ.
Коля, гимназистъ старш. классовъ, родственникъ Ланиныхъ.
Михаилъ Федотычъ, помѣщикъ, пріятель Ланина.
Гости, студенты, барышни, гимназисты, кадеты, подростки.

I

Весенній день, блѣдно-зеленыхъ тоновъ. Очень тепло, деревья полураспустились; небо апрѣльски-нѣжное. На обширной террасѣ Ланинъ и Тураевъ сидятъ у стола: передъ ними вино.

Ланинъ. И весна, весна. Вотъ она какая благодать, батюшка мой. Конецъ апрѣля.

Тураевъ. А у васъ сезонъ начался ужъ? Съѣзжаются?

Ланинъ. Ну, понятно. Тутъ изстари заведено, и при покойной женѣ такъ было: я люблю юность. Пусть побѣгаютъ. Ничего, на то они молоды.

Тураевъ. Значитъ, все попрежнему. Помню, былъ у васъ студентомъ одно лѣто.

Ланинъ. Нынче, видите, весна пораньше, и они пораньше, хо-хо. Знаютъ, когда слетаться. Своего не упустятъ. Что жъ, я радъ: зимой сидишь одинъ, развѣ на выборы . . . или за границу — а лѣтомъ вотъ и шумъ.

Тураевъ. А Елена Александровна надолго?

Ланинъ. На все лѣто. Тутъ, я вамъ скажу, гости какъ разъ сегодня пріѣхали — я и самъ мелькомъ видѣлъ — ушли спать, переодѣваться, и все возятся.

Тураевъ. Кто жъ такіе?

Ланинъ. Еленины друзья.

(*Входитъ Елена. Она нѣсколько возбуждена*).

Елена. Папа, вы не говорили насчетъ самовара? Сейчасъ придутъ Фортунатовы, ничего еще нѣтъ! (*Звонитъ*).

Ланинъ. Вотъ она знаетъ все, она. Если ея друзья, значитъ, хорошіе люди.

Елена (*улыбается, обнимаетъ его*). Ты такой же все, папа? Фортунатовъ тебѣ подстать, онъ философъ, тоже.

Ланинъ. Чудачище? Я такихъ люблю.

Елена. Да. — Гдѣ Наташа, скажите вы мнѣ? Пропадаютъ всѣ здѣсь цѣлыми днями!

Тураевъ. Я видѣлъ Наташу у пруда; когда сюда шелъ.

Елена. Съ Николаемъ?

Тураевъ. Да... Они рыбу удятъ.

Елена. Мой мужъ записался въ Фаусты. Ну, да какъ хочетъ. Я, кажется, плохая мать. (*Смѣется про себя*). Плохая мать. (*Отходитъ къ перилamъ. Блаженно, задумчиво смотритъ въ паркъ*). День-то, день! Свѣтъ какой! Ослѣпнешь.

Ланинъ. Елена въ меня, солнышко любитъ.

Елена. Въ такіе дни кажется, что въ жизни есть что-то чудесное. Можетъ быть, природа раскрываетъ свое сердце, и чувствуешь, что и люди есть... особенные.

Ланинъ. Елена у насъ нынче возвышенно настроена.

Елена. Я хоть и мать, хоть и за тридцать мнѣ, все же я еще человѣкъ.

Ланинъ. Браво, брависсимо.

Елена. Да и у васъ тутъ все пропитано любовью. Напримѣръ, Евгеній, Ксенія? Тоже подъ липами гдѣ-нибудь разводятъ о вѣчной любви. Скоро свадьба-то ихъ?

Ланинъ. Хо-хо-хо! Порядочно назрѣло, я ужъ вижу! (*Тураеву*). Здѣсь рѣдкое лѣто безъ брака, у меня рука легкая.

Елена. Бываетъ съ вами, Петръ Андреевичъ, что вы чувствуете себя такимъ легкимъ... Точно сила какая владѣетъ вами. — И все такъ свѣтло, все — восторгъ.

Ланинъ. Елена влюблена!

Елена. Папа, пустое вы говорите.

Тураевъ. Но сегодня вы особенно настроены, это вѣрно.

Елена (*свѣшивается внизъ*). Милая весна, милая зелень!

Ланинъ. Влюблена, влюблена!

Елена. Ну, будетъ! (*Прислуга приноситъ самоваръ*). Будетъ болтать пустяки. (*Садится къ столу и хозяйничаетъ.*) Петръ Андреевичъ, держитесь, сейчасъ вы увидите блистательную женщину. Закрутитъ она васъ!

Тураевъ (*улыбаясь*). Меня? Нѣ-ѣтъ!

Ланинъ (*хлопаетъ Тураева по спинѣ*). Онъ прежде твоимъ рыцаремъ считался, мать моя!

Елена. Это когда было!

Ланинъ. Что жъ, человѣкъ скромный, образованный ... въ земствѣ на хорошемъ счету.

(*Входятъ Фортунатовъ, Марья Александровна и Коля*).

Елена. Наконецъ-то, мы заждались. (*Улыбаясь, слегка смущенно*). Я ужъ думала, вы нездоровы.

Фортунатовъ. Мы задержали, кажется? Навѣрно, мы нарушили порядокъ жизни? Ахъ, какая оплошность печальная! Маша, какъ это мы не сообразили?

Марья Ал. Это я виновата. (*Улыбаясь, лѣниво*). Правду сказать, я устала отъ ѣзды ночью. На лошадяхъ ѣхать было отлично, только я какъ-то разслабла отъ этой весны, вашихъ соловьевъ ... (*Еленѣ*). Это такая роскошь была ночью! запахи, звѣзды, невозможно заснуть!

Ланинъ. Ничего, здѣсь наверстаете. У меня молодые люди должны поправляться, набирать силъ для жизни, работы!

Елена. Діодоръ Алексѣевичъ профессоромъ скоро будетъ, онъ не такъ-то юнъ, папа!

Ланинъ. Здѣсь старикъ только я. Остальные — дѣти. Запомните это себѣ!

Марья Ал. Правда? (*Мужу*). Слышишь? Всѣ должны быть молодыми. Да, въ такую весну кто не молодъ, того презирать слѣдуетъ.

Фортунатовъ. Маша боится, что я буду мучить раскопками и архаической скульптурой. Но это, господа, невѣрно. Я люблю искусство и археологію, но сейчасъ я счастливъ, что попалъ въ такую славную деревню, къ молодежи. Я охотно готовъ заниматься всякими развлеченіями природы, и вотъ (*Колѣ*) молодой человѣкъ . . .

Елена. Зовите его просто Колей.

Фортунатовъ. Мы уже знакомы. Да, я думаю, Коля покажетъ намъ способы ловли рыбы.

Марья Ал. Господинъ Коля, вы, навѣрно, веселѣй всѣхъ здѣсь живете. Вы меня тоже должны всему научить. Вы рыбу удите?

Коля. Немного. Это пустое занятіе.

Марья Ал. Нѣтъ, ужъ пожалуйста.

Ланинъ. У насъ еще рыболовы есть, еще! Въ одномъ концѣ сада у насъ рыболовы, въ другомъ птицеловы, въ третьемъ сердцеловы.

Коля. Здѣсь паркъ вообще прекрасный. Конечно, пережитки крѣпостничества, тургеневщины.

Марья Ал. Какой тамъ тургеневщины? Есть паркъ — и чудесно. Надо Бога благодарить.

Елена. Здѣсь есть отличная оранжерея. Діодоръ Алексѣевичъ, пейте чай, пойдемъ смотрѣть все это.

Фортунатовъ. Да? Отлично. (*Ланину*). А я, знаете ли, немного близорукъ, и сейчасъ, напримѣръ, неясно вижу, что тамъ вдали. Мнѣ кажется — какія-то пятна блѣдно-зеленыя, а надъ ними бирюза. Это, очевидно, распускающіяся деревья и небо. Но зато я . . . (*вздыхаетъ*) ясно чувствую, что здѣсь весна и такой милый запахъ!

Марья Ал. Вчера ночью, въ дорогѣ, онъ принималъ кусты за людей, вообще . . . (*машетъ рукой*).

Фортунатовъ. Да, вотъ Машенька все смѣется, она и вчера дразнила меня. А мнѣ въ полутьмѣ всѣ мѣста казались фантастическими — я такъ давно не видалъ природы и деревни. Къ тому же плохое зрѣніе. Такъ что подъ конецъ я думалъ, не посылаютъ ли мнѣ боги легкаго навожденія, видѣній. Вотъ сейчасъ я различаю новыя пятна, движущіяся.

Елена. Это наши. Наташа съ моимъ мужемъ, Ксенія, Евгеній.

Фортунатовъ. Вѣроятно — да!

Ланинъ (*подходитъ къ периламъ*). Рыболо-вы! Много-ли мнѣ окуньковъ наловили, желаю знать?

Наташа (*весело*). Дѣдушка, не клюетъ! (*Влетаетъ на балконъ; увидѣвъ Фортунатова, смущается*).

Ланинъ. Ты чего жъ это зѣвала? А?

(*Пришедшихъ представляютъ, всѣ здороваются*).

Наташа. У меня, дѣдушка . . . (*вдругъ фыркаетъ, бѣжитъ къ двери и высунувшись кричитъ*). У меня слишкомъ строгій вотчимъ!

(*Всѣ смѣются*).

Ланинъ. Ну, шельма! Чѣмъ вы ее такъ запугали?

Ник. Ник. Запугаешь ее! У нея нѣтъ системы. Чуть тронетъ рыба крючокъ, она тащитъ. При этомъ страшно шумно — всю рыбу разгоняетъ.

Ланинъ. А ты бы изобрѣлъ для нея какой-нибудь особый такой крючокъ, чтобы рыба сама на него шла. Это твое, вѣдь, дѣло — изобрѣтать.

Ник. Ник. Ну, гдѣ тамъ изобрѣтать. На то Эдисоны есть.

Фортунатовъ. Елена Александровна, а вы покажете мнѣ сады? Хотя я и плохо вижу, однако, ловля рыбы меня интересуетъ чрезвычайно.

Елена (*подымаясь*). Да, непремѣнно. И вообще, идемъ, пора. Скоро солнце сядетъ. (*Проходя мимо Ксеніи, ласково щекочетъ ее. Вполголоса*): Ну, а у тебя сегодня такой видъ, такой . . . (*Смѣется, грозитъ пальцемъ*).

Марья Ал. Въ самомъ дѣлѣ, идемъ. Господинъ Коля, когда жъ вы будете паркъ показывать, вашу „тургеневщину?“

Елена. Николай, вотъ тебѣ стаканъ, мы уходимъ.

Ник. Ник. Куда это? Какая ты, Елена . . .

Елена. Никакая. Діодоръ Алексѣевичъ, руку.

(*Уходятъ, Коля впереди съ Марьей Александровной*).

Ланинъ (*Тураеву*). Душенька, что же вы?

Тураевъ. Я здѣсь побуду. Посижу, покурю. Елена Александровна займетъ гостей.

(*Изъ дому выбѣгаетъ Наташа*).

Наташа. Что, ушли? . . . А то эти профессора разные! Я боюсь умныхъ. (*Скачетъ и визжитъ*).

Ланинъ. Чего ихъ бояться? Они ничего . . . Хе-хе, опасности нѣтъ.

Ник. Ник. Онъ чучело какое-то. А она . . . д-да.

Ланинъ. Красивая бабочка.

Ник. Ник. Ну, глаза! Ну, глаза-а! Не будь я Еленинымъ мужемъ . . .

Наташа. Тебѣ она нравится? Такъ, вообще?

Ник. Ник. Нравится.

Наташа. Очень.

Ник. Ник. Тебѣ-то что?

Наташа. Очень нравится! Очень нравится! Конечно, мнѣ ничего. (*Мѣняя тонъ*). По моему тоже — она прелестная. Жаль, я уродъ. Оттого ты меня все ругаешь.

Ник. Ник. Ты глупая, Наташа.

Тураевъ (*смѣется*). Наташа, поди ко мнѣ!

Наташа. Гдѣ вы тамъ, дядя Туръ?

Тураевъ. Сядь ко мнѣ. Ты меня насмѣшила. Ты говоришь, что ты уродъ. Это невѣрно.

Наташа. Нѣтъ, вѣрно. Я бы хотѣла быть такой красивой, какъ Марья Александровна. Чтобъ меня любили. И чтобъ не смѣялись надо мной.

Ланинъ. Тебя еще не любить, а въ гимназіи хорошенько правописанію учить надо! Правописанію!

Тураевъ. Времена! Я тебя зналъ вотъ такой (*показываетъ*), а теперь ты . . . наполовину большая! Александръ Петровичъ, смотрите, вотъ птенецъ скоро выпрыгнетъ на свѣтъ Божій — куда-то ты выпрыгнешь?

Наташа. Я не маленькая, дядя Туръ. Это я такъ кривляюсь. Можетъ, я все знаю, да не говорю. Я не маленькая. (*Опирается на Тураева спиной, смотритъ на Ксенію*). И ничего-то вамъ обо мнѣ неизвѣстно, ничевошеньки! Ксеничка, тебѣ хорошо сейчасъ?

Ксенія. То-есть какъ?

Наташа. Я на тебя поглядѣла, мнѣ показалось . . . Ты мнѣ показалась невѣстой. Знаешь, бываетъ . . . что человѣкъ полонъ чѣмъ-то хорошимъ . . . счастьемъ!

Ксенія (*смѣшавшись*). Да, мнѣ хорошо. (*Пауза*). Мы съ Евгеніемъ много гуляли, были въ полѣ. Знаешь, прилетѣли жаворонки. Въ рощѣ я нашла фіалки — такія чудныя. А поля блестятъ подъ солнцемъ, блестятъ!

Наташа. Ты счастливая.

Тураевъ (*смотритъ на Наташу*). Если васъ сравнивать, такъ ты, Наташа, какая-то угластая . . . и объ тебя зажечься можно . . . а Ксенія сіяетъ ровно, весной свѣтитъ. Точно принесла съ собой блескъ этихъ полей.

Наташа (*обнимаетъ Ксенію*). Ксенія королева.

Ксенія. Ну, вотъ, ну, вотъ! (*Смѣется смущенно, цѣлуетъ Наташу*). Скажешь тоже.

Наташа. Конечно, ты золотая королева. Вонъ у тебя какія косы!

Ник. Ник. Наташа разнѣжничалась теперь.

Наташа. Отчего же дѣвушку и не поласкать? Она хорошая. (*Снова Ксенія цѣлуетъ ее*).

Ник. Ник. Ну, ласкай, ласкай. А я взгляну, какъ Елена тамъ гостей водитъ. (*Встаетъ*). Вы не подойдете, Петръ Андреевичъ? Наташа!

Тураевъ. Они, навѣрно, скоро вернутся.

Наташа. Нѣтъ, я не пойду. (*Перебираетъ волосы Ксеніи*). Мнѣ не хочется.

Ник. Ник. Какъ знаете. (*Уходитъ. Наташа смущена*).

Ксенія. Наташа, ты гостей боишься? Неужели правда? Развѣ ты робкая?

Наташа. Нѣтъ, мнѣ не хочется, просто. (*Вздыхаетъ*). И все тутъ. Мы съ Туромъ лучше въ крокетъ сыграемъ. Туръ, идетъ? (*Подаетъ ему руку*). Я васъ разобью при этомъ?

Тураевъ. Можно. Меня, Наташенька, столько били, что еще разъ разбить честь невелика. (*Усмѣхается*). Ужъ такой я герой.

Ланинъ (*у перилъ*). Да если Елену увидите, пусть молодой садъ покажетъ. Пусть покажетъ.

Наташа (*басомъ*). Слушаю, ваше сіятельство. (*На мгновеніе останавливается, потомъ подбѣгаетъ къ балкону*). Когда Ксенія замужъ будетъ выходить, чтобы мнѣ первой сказали. Да-съ! (*Убѣгаетъ*).

Ланинъ. Ишь ты, шельма. Какъ ни притворяйся — раскисла. Характерецъ! То юлитъ, на шеѣ виснетъ, то вдругъ... А про васъ что сказала? Когда, говоритъ, замужъ будетъ выходить... Что это она болтаетъ? А?

(*Ксенія молчитъ и улыбается*).

Ланинъ. Угадала?

Евгеній. Я и Ксенія давно любимъ другъ друга, Александръ Петровичъ.

Ланинъ. Вонъ куда загнуло.

Ксенія (*подходитъ и обнимаетъ его*). Папа, милый, Наташа угадала!

Ланинъ. Ну, конечно, конечно.

Евгеній. Александръ Петровичъ, я простой студентъ, что я такое... можетъ быть, вы...

Ксенія. Молчи, Евгеній.

Ланинъ. Та-акъ. Стало быть, вы будущій Ксенинъ мужъ.

Ксенія. Да, папа. (*Встаетъ*). Папа, поздравь меня. Нынче такой... дорогой для меня день.

Ланинъ. Поздравь, поздравь...

Евгеній. Вы... недовольны?

Ксенія. Папа?

Ланинъ. Хо-хо! (*Встаетъ, ходитъ въ волненіи*). Чѣмъ мнѣ быть недовольнымъ? Я же знаю, понимаю. У меня есть глаза. (*Вдругъ останавливается, обнимаетъ Ксенію*). Поди сюда, Евгеній. Ну, поцѣлуйтесь при мнѣ, Богъ съ вами. (*Они смѣются и цѣлуются*). Вотъ, значитъ, и тово, я васъ благословилъ. Теперь видите, что не огорченъ?

Ксенія. Папочка, я такъ и знала. Вы меня такъ любили... Неужели вы бы и бы противъ счастья моего?

Ланинъ. Вотъ тебѣ разъ, вотъ тебѣ разъ! Ты только меня не забывай. Ну, когда устанешь тамъ въ городѣ, или что, такъ меня чтобъ ужъ не миновать.

Ксенія. Папа, что вы! Папа... (*прислоняется къ его плечу, со слезами въ голосѣ*). Господи, мнѣ и васъ жаль, я и знаю, что буду васъ попрежнему любить. (*Цѣлуетъ руки*). Вы старенькій... А все-таки плачу.

Ланинъ. Хо-хо! У насъ всѣ такъ... немного слабы насчетъ чувствъ. Да-съ, слабы. Вотъ и я... собственно, что же. Евгеній человѣкъ хорошій, фантасмагористъ немного, но хорошій. Я люблю такихъ юношей... въ шиллеровскомъ духѣ. И все-таки я разволнованъ, не могу отрицать. (*Улыбается, ходитъ взадъ и впередъ*). Ксенюшка очень на мать покойницу похожа. Она такая же была. Только

тогда по другому одѣвались. Все — и свѣтъ въ глазахъ, и руки... Все, вѣдь, тоже здѣсь было (*закрываетъ глаза рукой*). Тридцать лѣтъ было, а будто вчера. И весна была такая же, духъ шиллеровскій. Въ то время мы много читали Шиллера.

Ксенія. Мамы... нѣтъ! Отчего нѣтъ мамы, я-бы ее цѣловала, она бы плакала со мной.

Ланинъ. Ну, это ужъ... да. Тутъ ничего не подѣлаешь.

Ксенія. Я помню маму молоденькой.

Ланинъ. Она умерла сорока лѣтъ.

Ксенія. Все равно, я ее помню молодой. Не знаю, сколько ей было, только она была молодая. Я помню ея волосы, и какъ отъ нея пахло.

Ланинъ (*Евгенію*). Берегите Аксюшу. Вы знаете, это очень трудное дѣло, жизнь. И вы ее охраняйте. Много вы еще тяжелаго хлебнете другъ съ другомъ, это ужъ такъ положено — все несите. И только знайте, что надо... да... Бога просить, чтобы своей любви не переживать. Если уйдетъ она изъ жизни раньше васъ... ну, многое вы тогда узнаете.

(*За сценой хохотъ Марьи Александровны и голоса*).

Ксенія. Это наши!

(*Входитъ Елена съ Фортунатовымъ, Коля ведетъ подъ руку Марью Александровну*):

Фортунатовъ. Я продолжаю утверждать, что все у васъ здѣсь чрезвычайно замѣчательно и прекрасно. (*Ланину*). Я въ восторгѣ отъ вашей усадьбы. Такъ свѣтло, обширно, садъ, пруды, оранжереи. Я, знаете ли, чувствую, что здѣсь была богатая жизнь... и какъ бы сказать — жизнь любви. Гдѣ жъ было и любить этимъ людямъ прошлаго, какъ не въ роскошныхъ паркахъ, такими веснами,

когда все, повторяю, кажется фантастичнымъ и таинственнымъ.

Марья Ал. (*хохоча*). Здѣсь, можетъ, и любятъ, а не только любили. Любятъ, любятъ, навѣрно, отъ меня не скроешь.

Елена (*смѣется — немного пьяно*). Любятъ? Вы находите, что любятъ? Діодоръ Алексѣевичъ, вы тоже находите?

Фортунатовъ. Да, здѣсь можно опьянѣть. И мнѣ это чрезвычайно радостно. Мнѣ кажется, что здѣсь человѣческая душа, среди свѣта и зелени, должна какъ бы распускаться и цвѣсти. Знаете ли, все нѣжнѣйшее и лучшее, что въ ней есть, выходитъ наружу.

Ланинъ (*встаетъ*). Господа, теперь можно не скрывать: вы попали какъ разъ на помолвку. (*Беретъ за руки Евгенія и Ксенію*). Позвольте представить — женихъ и невѣста.

Елена. Ксенія, невѣста? Правда? Я такъ и знала. (*Цѣлуетъ ее*).

Ксенія. Цѣлуй меня, цѣлуй крѣпче!

Елена. Милая, милая!

Фортунатовъ. Ахъ, вотъ какъ, весьма пріятно (*Ланину, Евгенію*). Позвольте поздравить отъ души, я хотя и чужой здѣсь, но дружба съ Еленой Александровной . . .

(*Вбѣгаетъ Наташа*).

Наташа. Цѣлуются? Мама? Ксюша? Что такое? А?

Ланинъ. Свадьба, коза Ивановна, да не твоя.

Наташа. Ксюша съ Евгеніемъ? Молодцы! Свадьба, свадьба-у-у!! (*Визжитъ, крутится на одной ножкѣ*). Женька, молодецъ, подсидѣлъ. (*Кидается ему на шею*). Ходилъ, ходилъ по аллеямъ и доходился. (*Теребитъ его и какъ бы съ нимъ борется*).

Евгеній (*смѣясь*). Наташа! Какая ты!

Наташа. Отобралъ у меня тетушку, противный!

(*Входятъ Тураевъ и Ник. Ник*).

Ник. Ник. А-а, свадьба. Браво, Евгеній Иванычъ, Ксенія, поздравляю.

(*Тураевъ подходитъ къ Ксеніи и цѣлуетъ руку*).

Тураевъ. Вотъ онъ, свѣтъ-то полей! Вотъ она, королева наша!

Фортунатовъ (*женѣ*). Какое доброе предзнаменованіе! Мари, милая, ты не находишь, что это страшно хорошо, что мы пріѣхали именно сегодня, въ такой радостный день! Я снова утверждаю — я предчувствовалъ, что здѣсь должно произойти что-то превосходное. Мари, развѣ я не говорилъ тебѣ, что мое сердце расцвѣтаетъ? (*Подходитъ къ Ксеніи и цѣлуетъ руку*). Поздравляю, отъ всей души. Я не такъ молодъ, какъ вы, но мое сердце всей силой отзывается на зрѣлище высокихъ радостей жизни.

(*Марья Ал. весело смѣется*).

Марья Ал. Рѣчь произнеси, рѣчь! (*Хлопаетъ его по плечу*). Ахъ ты, другъ ты мой сердечный!

Фортунатовъ. Чего ты смѣешься, Машенька? Право, я, кажется, ничего смѣшного и не говорилъ.

Марья Ал. Ты просто очень милъ . . . очень милъ.

Ланинъ. Господа, прошу покорно. У меня найдется по бокалу добраго вина. Надо чокнуться. (*Хлопаетъ Фортунатова по плечу*). Идемъ въ столовую, профессоръ, пока достанутъ вина, я покажу вамъ масонскія книги, — здѣсь осталось кое-какое старье.

Фортунатовъ. Неужели? Это крайне интересно!

Ник. Ник. Парами идти. (*Марьѣ Александровнѣ*). Вашу руку.

Марья Ал. (*Колѣ*). Прозѣвали, господинъ радикалъ.

Коля. Во-первыхъ, я не́ радикалъ, а анархистъ.

Марья Ал. А во-вторыхъ?

Коля (*сердито, сконфуженно*). Во-вторыхъ, ничего.

Марья Ал. Ну, дайте руку хоть Наташѣ. (*Уходятъ*).

Наташа. Съ Колей идти? Ладно, что подѣлаешь! Наше дѣло дѣвичье. (*Прыгаетъ, но какъ-то натянуто*). Коля, будь хоть ты моимъ рыцаремъ, если другіе не хотятъ.

(*Подъ руку съ Колей выходитъ за всѣми. Тураевъ и Елена остаются*).

Тураевъ. Что-жъ, Елена Александровна, мнѣ тоже вамъ руку подать? Помните, что сказалъ нынче Александръ Петровичъ? Я вашъ старинный рыцарь.

Елена. Петръ Андреевичъ, вы меня очень трогаете. (*Вздыхаетъ*). Но сейчасъ мнѣ не хочется еще идти. Знаете, я какъ-то затуманена. Столько чувствъ, думъ, событій... не могу быть покойной. Фортунатовъ говоритъ, что здѣсь напряженная атмосфера. Это, пожалуй... вѣрно. Скажите: вы ничего не замѣчаете?

Тураевъ. Какъ сказать?

Елена. Пошли пить за нареченныхъ, это прекрасно... Но все ли здѣсь-то благополучно, въ усадьбѣ?

Тураевъ. Если говорить правду... Наташа меня немного смущаетъ.

Елена. Наташа.

Тураевъ. Можетъ быть, я ошибаюсь, — но она не ребенокъ. Больше того...

Елена. Вотъ какъ! Вы... замѣтили!

Тураевъ. Въ ней есть настороженность... острота любящей дѣвушки. Мнѣ даже показалось, — но тутъ я отказываюсь понимать.

Елена. Что отказываетесь понимать?

Тураевъ. По моему, она ревнуетъ.

Елена. Можете больше не говорить. Вы увѣрены, что да, что она влюблена?

Тураевъ. Почти... увѣренъ.

Елена. Я такъ и знала. (*Ходитъ взадъ и впередъ, въ волненіи*). Ужъ я замѣчала, она смотритъ на него по особенному, по особенному смѣется. Но здѣсь, въ деревнѣ, все усилилось. Точно ей овладѣлъ духъ какой-то любовный. И эта восторженность, слезы, ну, я понимаю. Она влюблена . . . въ отчима. Въ Николая . . . вотъ какъ.

Тураевъ. Мнѣ было тяжело назвать это имя.

Елена. Что подѣлать, это такъ. Я не знаю одного — насколько серьезно. Да . . . тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Николай нравится многимъ. Мнѣ самой нравился, когда выходила за него замужъ. Но чтобы моя дочь . . . — я, конечно, не ждала. Чего не бываетъ! Петръ Андреевичъ, вы преданный другъ?

Тураевъ. Я? (*Подумавъ*). Я даже слишкомъ преданный, Елена Александровна.

Елена. Я такъ и знала. (*Подходитъ къ нему*). Я вамъ могу сказать многое, чего не скажу другому.

Тураевъ. Я слушаю.

Елена. Должна вамъ сообщить странную вещь. Очень странную. Какъ, по вашему, чувствуетъ себя мать, у которой дочь влюбилась въ отчима? (*Тураевъ разводитъ руками*). Ну, конечно, я понимаю. Неважно она себя чувствуетъ. Страдаетъ за дочь? Къ мужу ревнуетъ? Такъ вотъ и оказывается, что нѣтъ, и не ревнуетъ, и даже дочерью не очень занята. Это скверно, можетъ быть, даже преступно . . . но поди-жъ ты. Мать думаетъ совершенно о другомъ.

Тураевъ. Значитъ, — отвлечена.

Елена. Отвлечена! Отвлечена! (*Садится около него и смотритъ робко*). Петръ Андреевичъ, милый мой!

Тураевъ (*закрываетъ лицо руками*). Зачѣмъ вы меня такъ называете?

Елена. Что же? Вы добрый, старый другъ!

Тураевъ. Старый другъ! Старый другъ!

Елена. Папа смѣялся нынче надо мной, говорилъ, что я влюблена.

Тураевъ (*смотритъ въ сторону, неподвижно*). Онъ вовсе не смѣялся.

Елена. Какъ такъ не смѣялся?

Тураевъ. Папа нынче не смѣялся. (*Молчитъ*).

Елена. Ну, влюбилась. Ну, да, да... что-жъ теперь дѣлать?

Тураевъ. Ничего.

Елена. Дядя Туръ, не осуждайте меня. Еще за границей, когда я въ первый разъ встрѣтила его, онъ меня поразилъ. А-а, вы его не знаете. Между тѣмъ, это замѣчательный человѣкъ. Его считаютъ немного за чудака, и правда, онъ говоритъ иногда странно. Но это только для тѣхъ, кто не вслушался въ него.

Тураевъ. Онъ понравился мнѣ сразу.

Елена. И уже тамъ я поняла, что этотъ странный и, какъ кажется, несчастный человѣкъ побѣдилъ меня. А когда я увидѣла его нынче... Нѣтъ, должно быть всѣ мы здѣсь немного полоумные.

(*Входятъ Ланинъ съ Фортунатовымъ*).

Ланинъ. Да, многоуважаемый профессоръ. Таковы наши владѣнія. И вонъ тамъ, у пруда, самое замѣчательное мѣсто. Можно сказать, историческое мѣсто: статуя богини любви. Венера-съ. Что вы думаете, восемнадцатаго вѣка... дѣдомъ изъ Франціи вывезена. Тамъ этакія скамейки, и со временъ старинныхъ на дубахъ, березахъ вырѣзаны сердца пронзенныя, и тамъ въ любви всегда объяснялись, хе-хе, это какъ бы мѣстное божество, хотя у него и отбиты руки. Да, покровительница любви, устроительница величайшихъ кавардаковъ.

Фортунатовъ. Какъ это интересно! Скажите, пожалуйста, вѣдь, Елена Александровна не показала мнѣ ее!

Ланинъ. Что же ты это, мать моя? Слона-то, можно сказать?

Елена (*встаетъ; улыбаясь, растерянно*). Ахъ, да, я вамъ не показала, дѣйствительно. Но время еще будетъ.

Ланинъ. А вина-то несутъ? (*Въ окно дома*). Винца-то, винца?

(*Входятъ изъ дома Марья Ал., Ник. Ник., Коля*).

Марья Ал. А мы ждемъ тостовъ. Ахъ, какая зала у васъ, Александръ Петровичъ!

(*Лакей вноситъ на подносѣ шампанское и бокалы*).

Тураевъ (*Ланину*). Какъ вы сказали про Венеру? „Устроительница величайшихъ кавардаковъ?“

Ланинъ. Разумѣется, душа моя. Все она мудритъ. За нее сейчасъ выпьемъ.

Тураевъ (*задумчиво*). Да-да-да-а . . .

Ланинъ. Гдѣ-жъ виновники торжества? Спрятались? Гдѣ они тамъ? Да еще бы бутылку. (*Лакею.*) Еще бутылку! (*Всѣ берутъ бокалы. Входятъ Ксенія и Евгеній*). Ну, вотъ, за нихъ, за молодость, за любовь, за Венеру, такъ сказать, за счастье.

(*Всѣ обступаютъ помолвленныхъ, чокаются. Голоса: „браво! Поздравляемъ! Счастья!“ Вбѣгаетъ Наташа и сразу становится шумно*).

II.

Пригорокъ въ паркѣ, окруженный старыми дубами. На скамьѣ, лицомъ къ зрителю Ксенія и Наташа. За ними статуя, къ ней примыкаетъ въ глубинѣ сцены бесѣдка. Направо внизу, сквозь деревья виденъ прудъ. Теплая вечерняя заря.

Наташа. Скучно съ ними. Сидятъ какъ сычи, ждутъ, пока клюнетъ. По моему, если ужъ ловить рыбу, такъ раздѣться, неводъ взять... А такъ скучно. Ксенія, отчего это мнѣ все скучно?

Ксенія. Ты какая-то другая стала, Наташа, я замѣчаю, тоже.

Наташа. Все мнѣ не нравится, все плохо. Деревья-бъ эти срубила, прудъ спустила, разбила-бъ въ клочья эту каменную дуру. Скажи, пожалуйста: голенькая, и какъ будто улыбается.

Ксенія. Ну, Наташа, дай тебѣ волю, ты камня на камнѣ не оставишь.

Наташа. Я ужъ такая уродилась. Если мнѣ хорошо, весь свѣтъ Божій зацѣлую. Плохо — пропадай онъ пропадомъ.

Ксенія. Ахъ, Наташа, ты воинственная.

Наташа. Я воинственная, а ты невѣста. Вы невѣсты всѣ такія тихони. (*Обнимаетъ ее*). Дорогая, не сердись, со мной что-то дѣлается. Ты не тихоня, ты невѣста. Тебѣ все хорошо.

Ксенія. Я другого характера, Наташа.

Наташа. Ты страшно тихая и серьезная. Я тебѣ завидую. Ты любишь своего Евгенія, онъ тебя любитъ...

вы имѣете такой видъ, будто готовитесь, постомъ и молитвой... (*смѣется*) къ чему-то такому очень важному...

Ксенія. Это, вѣдь, такъ и будетъ. Мы соединяемъ наши жизни.

Наташа. Ну, я знаю, знаю. Ты, Ксеничка, всегда была такая... умная. Я тебя немножко даже боялась. Ты все Евангеліе читала, я помню. И разныя философіи.

Ксенія (*улыбается*). Какъ ты меня смѣшно изображаешь...

Наташа. И Евгеній тоже ходитъ... глубокомысленный, точно рѣшаетъ міровые вопросы. А я, если-бъ была невѣстой, все бы цѣловалась.

Ксенія. Ну, ужъ, конечно. (*Смѣется, гладитъ ее по волосамъ*). Евгеній про себя обдумываетъ что-то. Онъ, вѣдь, замкнутый человѣкъ, Наташа. Онъ можетъ ходить часами изъ угла въ уголъ и что-то мечтать.

Наташа. Евгеній страшно милъ, но я бы за него не пошла, извини меня, Ксеничка. Вотъ ужъ именно онъ очень основателенъ. Ксенія... а что, тебѣ Николай Николаевичъ нравится?

Ксенія. Мы, кажется, не сойдемся вкусами. Что-жъ, онъ очень красивый инженеръ... Но...

Наташа. А, нѣтъ, ты его не знаешь, онъ только будто бы такой педантичный, а онъ ужасно славный, ужасно... (*Съ раздраженіемъ*). И вотъ они все тамъ рыбу ловятъ... Ловятъ, ловятъ цѣлый день. Всю хотятъ выловить, что ли?

Ксенія. Пускай ловятъ. Тебѣ-то что?

Наташа. Нѣтъ, противно. Потомъ затѣваютъ пикникъ какой-то дурацкій.

Ксенія. Ты же все это любишь! Почему дурацкій?

Наташа. Любишь, любишь! Ты ничего не понимаешь, Ксенія.

Ксенія. А ты зря раздражаешься.

(*Снизу, съ пруда голосъ Фортунатова*: „*я поймалъ леща, Наталья Михайловна*!“).

Наташа. Фортунатовъ! Вотъ ему и радость. (*Кричитъ*). На здоровье!

Ксенія. Въ немъ есть что-то дѣтское, правда.

Наташа. Богъ съ нимъ. Онъ мнѣ безразличенъ. Скажи мнѣ... Ксенія, что, по твоему, Николаю очень нравится его жена? Ну, фортунатовская?

Ксенія. Не знаю, Наташа. Не замѣчала. Что ты все про Николая да про Николая, какая это ты...

Наташа. Цѣлые дни удятъ рыбу. И Коля съ ней постоянно. Вотъ ужъ, право!

(*Фортунатовъ выльзаетъ изъ-подъ склона. Въ рукахъ у него ведро*).

Фортунатовъ. Представьте, мнѣ удалось поймать леща, и какого огромнаго! Признаюсь, меня обрадовала эта побѣда.

(*Появляются Марья Алек., Коля и Ник. Ник.*).

Марья Ал. Ты поймалъ рыбу?

Фортунатовъ (*гордо*). Да, вотъ, Машенька, лещь.

Марья Ал. (*смѣясь*). Вижу. И теперь ты полчаса будешь радоваться ему?

Фортунатовъ. Обыкновенно въ жизни — т. е., я хочу сказать не то, чтобы вообще (*обращаясь къ Марьѣ Ал.*), а въ мелочахъ ея мнѣ такъ мало везетъ, что, дѣйствительно, и эта побѣда доставляетъ мнѣ нѣкоторую радость. (*Показываетъ леща*). Мирная рыба! Ты дремала въ глубинѣ пруда, кушала червяковъ, и вдругъ стала моимъ трофеемъ.

Коля. Онъ могъ бы быть и моимъ.

Фортунатовъ. Разумѣется. Но, однако, поймалъ его я.

Коля. Если-бъ мнѣ не мѣшали, очень можетъ быть, что я поймалъ бы его.

Фортунатовъ. Да, вѣдь, я... я развѣ вамъ мѣшаю, Коля?

Коля. Не вы, а многоуважаемый Николай Николаевичъ. Онъ систематически мѣшаетъ мнѣ ловить рыбу.

Ник. Ник. Господинъ гимназистъ, вы ошибаетесь. И вообще у васъ странный тонъ.

Наташа. Колька, ты чего ерепенишься?

Коля. Я не ерепенюсь, а вы около моихъ удочекъ систематически шумите и отгоняете рыбу, и я противъ этого всегда буду протестовать.

Марья Ал. Коленька, вы чего разволновались? Кто тамъ хочетъ отобрать вашу рыбу? Гдѣ этотъ злодѣй, я растерзаю его на части.

Коля. Марья Александровна... хоть вы... не смѣйтесь вы надо мной.

Марья Ал. Я не смѣюсь. Я растерзаю обидчика, какъ дикая менада.

Коля (*хватается за голову*). Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ?

Фортунатовъ. Позвольте, Коля, вѣдь, это одно недоразумѣніе... Зачѣмъ такъ остро все принимать, вы такъ нервны... (*Хочетъ взять его за руку*).

Коля. Пустите, ладно, я смѣшонъ... не могу больше. (*Убѣгаетъ*).

Ксенія (*Марьѣ Ал.*). Къ чему было дразнить? Какъ, правда, вы не поймете...

Ник. Ник. Вчера чуть не затѣялъ ссору на крокетѣ... будто бы я говорю ему подъ руку. Богъ знаетъ что!

Фортунатовъ. Быть можетъ, все это и такъ, но нельзя упускать изъ виду, что онъ наполовину подростокъ. Это такой нѣжный возрастъ, когда возможно многое.

Марья Ал. Я, вѣдь, все въ шутку. Я не думала, что онъ такъ приметъ. Конечно, надъ нимъ и нечего смѣяться, онъ очень славный мальчикъ... И съ характеромъ, какъ видно.

Ник. Ник. Однако, если его взять на пикникъ, онъ подвыпьетъ и, навѣрно, устроитъ какой-нибудь скандалъ.

Ксенія. Почему непремѣнно скандалъ? Какъ ты странно разсуждаешь!

Ник. Ник. Вотъ увидите.

Марья Ал. Это вы преувеличиваете. Нѣтъ, пожалуйста, я хочу, чтобы былъ Коля. И такъ мы его обидѣли, нѣтъ, это ужъ не годится.

Наташа. Куда вы хотите ѣхать?

Марья Ал. Я сама хорошенько не знаю. Въ какой-то Дьяконовъ косикъ, такъ смѣшно называется лѣсъ. Тамъ будто бы есть рѣка, мы будемъ ловить раковъ, варить ихъ тутъ же. Вотъ роскошь-то! Вечеръ будетъ чудесный, ночь теплая, сѣно тамъ, навѣрно, есть. Я поймаю рака и заставлю его схватить клешней усъ Николая Николаевича.

Наташа. Николай, а вы меня возьмете?

Ник. Ник. Отчего же не взять.

Наташа (*робко*). Хорошо на шикникѣ!

Фортунатовъ. Если и тамъ такая же природа, какъ здѣсь, лучшаго желать нельзя.

(*Слышно, какъ вдали поютъ дѣвушки, возвращаясь съ покоса*).

Ксенія. О Дьяконовомъ косикѣ я знаю немного: тамъ рѣка Болва, луга, кажется, хорошо. Лучше всего скажетъ вамъ объ этомъ папа. Вотъ онъ и идетъ, кстати.

Наташа (*оборачивается*). Дѣдушка какъ-то медленно движется. Будто ему не по себѣ.

(*Слѣва по дорожкѣ выходитъ Ланинъ. Онъ въ соломенной шляпѣ, опирается на палку*).

Фортунатовъ. Скажите, пожалуйста, Александръ Петровичъ, далеко ли отсюда мѣсто, называемое Дьяконовъ косикъ?

Ланинъ. Дьяконовъ косикъ? Нѣтъ, дорогой мой, недалеко. Мѣсто хорошее. Раковъ ловить? Я слыхалъ, слыхалъ. Дѣло (*Садится*). Поѣзжайте. Охъ, усталъ. Годы-то что значатъ: прошелся немного, и ослабъ.

Фортунатовъ. Вы далеко были?

Ланинъ. Нѣтъ, тутъ по близости. Такъ, вообще. Прошелся. Встрѣтилъ сейчасъ Колю — онъ имѣетъ какой-то странный видъ. Не то Чайльдъ-Гарольдъ, не то романтическій убійца.

Фортунатовъ. Тутъ, къ сожалѣнію, сейчасъ вышла маленькая непріятность. Онъ вспылилъ, потомъ разгорячился самъ и убѣжалъ.

Ланинъ. А-а, ну, такъ и быть должно. Такъ и быть должно. Тутъ всегда такъ. Влюбляются, ревнуютъ, бываютъ и слезы, и исторіи. Этотъ паркъ, знаете ли, чего не видывалъ. Не даромъ здѣсь такая поэтическая сѣнь. (*Оглядывается*). И ссориться-то мѣсто выбрали будто нарочно. Передъ лицомъ Венеры-съ, такъ сказать. Помните, я вамъ говорилъ.

Ник. Ник. Хламъ старый.

Ланинъ. Не совсѣмъ вѣрно, дорогой. Тутъ сколько народу клятвы другъ другу давало. И до дуэлей, я вамъ скажу, доходило. Прежде жили много шире, ну-съ, молодежь пріѣзжала стадами, и разные окрестные помѣщики, военные. Соловьи, ночи лѣтнія тогда такія жъ были, какъ теперь, и вздыхали тогда по прекрасному полу не меньше. Покойная жена очень любила это мѣсто. Она говорила, что здѣсь хорошая заря, вотъ какъ сейчасъ, и хорошъ прудъ — замѣчаете тамъ розовое отраженье? Ну, и на надписи взгляните.

Фортунатовъ. Сердце... Позвольте, еще — это интересно.

Марья Ал. Тутъ надпись: „J'etais né pour l'amour impossible.“

Ланинъ. Видите, что угодно. „Былъ рожденъ для невозможной любви“, а, конечно, не встрѣтилъ взаимности какой-нибудь Полины или Eudoxie.

Марья Ал. J'etais né pour l'amour impossible.

Ланинъ. Да, а въ этомъ пруду, говорятъ... барышня одна утопилась.

Наташа. Дѣдушка, правда?

Ланинъ. Такъ говорили. Какая-то Pélagie.

Наташа. Pélagie!

Ланинъ. Такъ, вѣдь, это когда было! А можетъ, и вовсе не было.

Наташа. Не пойду теперь сюда вечеромъ... бр-р... Никогда. Вдругъ представится.

Ланинъ. Ну, что тамъ. Мертвые спятъ мирно. Спятъ мирно.

(*Нѣкоторое время всѣ молчатъ. Краснѣетъ закатъ*; *далеко, на болотѣ, аукаетъ выпь*).

Ланинъ. Вотъ, пришелъ старый, и нагналъ уныніе. (*Въ ведерцѣ лещь начинаетъ плескаться*). Это что за звѣрь?

Фортунатовъ. Мнѣ посчастливилось, Александръ Петровичъ, поймать этотъ экземпляръ на удочку. Позвольте преподнести его вамъ.

Ланинъ. Спасибо, благодарю. Экого выудили!

Ник. Ник. У профессора клюетъ не переставая. Онъ только не умѣетъ подсѣкать, у него часто соскакиваетъ.

Ланинъ. А-а, это не модель, это надо вамъ показать. Вы, конечно, этимъ не занимались, а тутъ надо сноровку.

Фортунатовъ. Я былъ бы крайне благодаренъ, если бъ вы...

Ланинъ. Могу показать, могу.

Ник. Ник. Да мы, вѣдь, и удочки тамъ оставили. На вашей, профессоръ, навѣрно сидитъ какой-нибудь гигантъ.

Ксенія. Папа, только, вѣдь, они скоро должны ѣхать. (*Вынимаетъ часы*). Восемь!

Ланинъ (*спускаясь*). Я покажу вамъ маленькій карамболь... Карамболь съ карасемъ.

Наташа. Дѣдушка сталъ гораздо слабѣе. Вотъ онъ и остритъ, а не тотъ, что былъ въ прошломъ году.

Марья Ал. Сколько лѣтъ вашему дѣдушкѣ, Наташа?

Наташа. Шестьдесятъ.

Ксенія. Онъ, навѣрно, возвращался сейчасъ съ маминой могилы. Онъ часто туда ходитъ. И тогда у него бываетъ... такой особенный видъ.

Марья Ал. Онъ ея не забылъ.

Ксенія. Мама умерла лѣтъ двѣнадцать назадъ. Она похоронена около церкви, на кладбищѣ. Онъ поставилъ на могилѣ бѣлый памятникъ, изъ итальянскаго мрамора. Тамъ всегда цвѣты. Когда солнце садится, тамъ прекрасно бываетъ.

Наташа. Когда бабушка умерла, онъ чуть съ собой не покончилъ. Почему онъ не умеръ? По моему, если любишь, надо умирать.

Ксенія. Почему же непремѣнно умирать? Человѣкъ не долженъ этого дѣлать. Онъ долженъ вынести свое горе.

Наташа. Ну, я знаю, ты у насъ святая.

Марья Ал. Если онъ такъ страдалъ, значитъ нашелъ человѣка, который былъ для него всѣмъ.

Наташа. Будто это трудно! Полюбите — онъ и станетъ всѣмъ. Правда, Ксенія?

Ксенія. Конечно.

Марья Ал. Милая Наташа, вы мнѣ очень нравитесь. Въ васъ есть такой хорошій огонь... да, вы все берете съ плеча, мнѣ это ужасно, ужасно нравится. Вы говорите — люблю — и все тутъ. Можно васъ обнять? Мнѣ хотѣлось бы васъ поласкать.

Наташа. Что жъ, ласкайте.

(*Марья Ал. обнимаетъ ее и цѣлуетъ*).

Марья Ал. Мнѣ хотѣлось бы, чтобъ вы не были такъ холодны, чтобы и меня вы хоть крошечку полюбили.

Наташа (*смѣясь*). Вамъ нравится, чтобы васъ любили. Вы всѣхъ ласкаете.

Марья Ал. Ничего не ласкаю. Такъ... — я люблю похохотать, дурить, выкидывать разныя штуки. Да это пустое. А чего мнѣ хочется? Вотъ я живу съ Фортунатовымъ, онъ такой отличный человѣкъ, нѣжный, добрый. Только не герой онъ мой. Я не вижу героя, его нѣтъ, нѣтъ — куда это пропали герои? Вотъ стоитъ Венера, она знала это, развѣ ее спросить?

Наташа. Мы можемъ спрашивать Венеру. Всѣ мы, женщины бѣдныя, вокругъ нея ходимъ. Я знаю гимнъ. Слушайте (*обращается къ статуѣ*):

„О, богиня, съ трона цвѣтовъ внемли мнѣ, Зевса дочь, рожденная пѣной моря!

Ты не дай позорно погибнуть въ мукахъ Саффо несчастной."

Марья Ал. Умерли боги, умерли герои. Слушайте, какой сейчасъ волшебный вечеръ. Когда я къ вамъ сюда ѣхала, была такая-же ночь: мнѣ казалось — хорошо бы бросить все это, стать дріадой, нимфой горъ, полей. Вамъ не кажется иногда? Знаете, услышать свирѣль, священную свирѣль Пана — и сбѣжать. А?

Наташа. „Ты не дай позорно погибнуть въ мукахъ Саффо несчастной".

Марья Ал. Нѣтъ, вы плачете, этого совсѣмъ не нужно. Надо ей вотъ поклониться, ей, смотрите!

(*Съ пруда слышенъ смѣхъ и голоса. Фортунатовъ кричитъ весело... „Маруся, а-у-у!"*).

Марья Ал. Если она не пошлетъ мнѣ любви настоящей, я сдѣлаюсь блудницей.

(*Со стороны пруда входятъ Елена, Фортунатовъ и Евгеній*).

Елена. Оказывается, нынче пикникъ? Это отлично!

Ксенія. Да, это придумали какъ-то быстро. Я только сейчасъ узнала.

Елена. Діодоръ Алексѣевичъ показывалъ намъ, какъ онъ будетъ ловить раковъ. Это умора!

Фортунатовъ. Маша сейчасъ опять посмѣется надо мной. Ну, хорошо, я смѣшу Елену Александровну, неудачно подсѣкаю рыбу, но, вѣдь, я живой человѣкъ... Давно я не чувствовалъ такого легкаго и свѣтлаго духа вокругъ. Повторяю: сердце мое здѣсь расцвѣтаетъ, Маша, ты меня понимаешь. Она, напримѣръ, моя дорогая жена, кажется мнѣ теперь какой-то инѳй, фантастической... Смотрите, въ ней есть отблескъ необыкновеннаго. (*Цѣлуетъ ей руку*). Нимфа Эгерія!

Марья Ал. А ты? (*Смѣясь*). Ты кто?

Фортунатовъ. Ну, ужъ я...

Елена (*сдержанно*). Вы только сейчасъ замѣтили, что у васъ прекрасная жена?

Фортунатовъ. Нѣтъ, я всегда зналъ это. Но, вѣдь, видите ли, я не молодъ. (*Смѣется*). Вотъ мое отчаянье. Знаете, съ суконнымъ рыломъ, какъ говорятъ русскіе, — въ калачный рядъ. Я рискую быть смѣшнымъ, снова — но рѣшительно, мнѣ кажется, что здѣсь, среди молодежи и весны, я помолодѣлъ и самъ.

Марья Ал. Елена Александровна, вамъ можно довѣрить мужа, когда мы отправимся? Вамъ это не будетъ непріятно? А я бы поѣхала съ Николаемъ Николаевичемъ.

Фортунатовъ. Мнѣ кажется, если бы запречь въ линейку, какъ говорилъ Александръ Петровичъ, то не стоило бы раздѣляться.

Марья Ал. (*смотритъ на Фортунатова, вполголоса*). Нѣтъ, она не пошлетъ мнѣ любви великой.

Наташа. Мама, я не поѣду на этотъ пикникъ.

Елена. Почему, Наташа? (*Подходитъ, обнимаетъ*). Почему?

Марья Ал. Ну, иду. Надо узнать, когда это будетъ. Можетъ, мы верхомъ поѣдемъ. А? Діодоръ Алексѣевичъ?

Фортунатовъ. Что жъ, узнаемъ, Машенька. (*Тихо*). Можетъ быть, и верхомъ.

(*Уходятъ*).

Елена (*Наташѣ*). Дѣтка моя, что грустна? (*Вздыхаетъ*). Я тебя давно не ласкала, я плохая мать, плохая. Прости меня, мой золотой, мой Наташкинъ. (*Цѣлуетъ ее*).

Наташа. Мама, я тебѣ много должна сказать... (*прижимается къ ней*). Отчего это мнѣ все страшно? Мама, правда, въ этомъ пруду утопилась дѣвушка?

Елена. Какая дѣвушка? Кто тебѣ сказалъ?

Ксенія. Это дѣдушка сейчасъ разсказывалъ. Какая-то барышня. Еще при крѣпностомъ правѣ... Какъ, право, это странно все.

Наташа. Мама, не могу! (*Хватается за сердце, кричитъ, убѣгаетъ*). Не могу!

Елена. Что такое?

Ксенія (*встаетъ, безпокойно*). Какъ она нервна! (*Хочетъ идти за ней*).

Елена. Погоди. Я сама... (*Въ тоскѣ*). Ахъ, ее надо услать отсюда, конечно. Правда, Ксенія?

Евгеній. Да, ушлите, Елена.

Ксенія. Почему ты такъ говоришь?

Евгеній. Я же чувствую.

Елена. Все запуталось! Я плохая мать, Ксенія, ты меня презираешь (*Ходитъ въ волненіи*). Я сама не знаю, что это съ нами дѣлается такое.

Ксенія. Не волнуйся, Елена, все уладится.

Елена. Не могу. Не могу не волноваться. Посмотри, что съ Натальей!

Ксенія. Я знаю.

Елена. Куда жъ я ее отправлю? И Николай не уѣдетъ... ему теперь здѣсь какъ разъ интересно.

Евгеній. Вамъ, Елена, надо уѣхать самой, и увезти съ собой Наташу.

Елена. Мнѣ? самой? Какъ же я... (*досадливо*). А-а, это все пустое! (*Рѣшительно, переходя вдругъ въ спокойный тонъ*). Ну, тамъ видно будетъ. Ничего я не знаю. Можетъ

быть, уѣду, можетъ быть, нѣтъ, посмотримъ. (*Озирается*). Я легкомысленная женщина. Я полагаю, что надо ѣхать на пикникъ. Поцѣлую Наташу и ѣду. Пора. Солнце сѣло. Вы будете?

Евгеній. Я — нѣтъ.

Ксенія. И я.

Елена. Ну, конечно. Иду. Закатъ-то, закатъ! (*Уходитъ*).

Евгеній. Елена запуталась, дѣйствительно. Не можетъ понять, мать ли она, влюбленная ли.

Ксенія. Можетъ быть. (*Пауза*). Ты ее осуждаешь?

Евгеній. Нѣтъ, по какому праву? Мнѣ ее жаль скорѣе. Правда, она попала въ тяжелое положеніе.

Ксенія. Какъ у насъ тутъ все смѣшалось, въ самомъ дѣлѣ.

Евгеній (*цѣлуетъ ей руку*). Не только у насъ, моя родная. Всюду. Это — жизнь. Знаешь, Ксенія, я вотъ теперь много думаю о нашихъ отношеніяхъ.

Ксенія. И я.

Евгеній. Я думаю такъ: „скоро вся она будетъ моею. Я — ея“. Знаешь, у меня голова кружится отъ этого (*пауза*). Это такое счастье сверхчеловѣческое...

(*Ксенія обнимаетъ его и прислоняется щекой къ плечу*).

Евгеній. Ну, вотъ. Дальше. Для меня придти къ тебѣ — это погрузиться въ тихій, дивный свѣтъ. Будто коснуться вѣчной правды.

Ксенія. Ты слишкомъ любишь. Оттого такъ говоришь.

Евгеній. Нѣтъ, это только правда. Но потомъ я разсуждаю: а имѣю ли я право на все это? Я, маленькій человѣкъ, полный страстей, грѣха?

Ксенія. Что ты говоришь, Евгеній!

Евгеній. Ты, вѣдь, многаго во мнѣ не знаешь. А во мнѣ есть страсти, есть мучительное, тяжкое, только глубоко запрятанное. Что несу тебѣ я?

Ксенія. Любовь. Это главное. Ты, вѣдь, самъ сказалъ, что ея силой побѣждается все.

Евгеній. Да, конечно. И любовь моя крѣпка. Но... меня все же берутъ сомнѣнія... Нѣтъ, не въ любви — въ этомъ я увѣренъ. Но я недостаточно себѣ нравлюсь, я бъ хотѣлъ быть во сто разъ лучше, чище, выше. Одна есть у меня надежда. Мнѣ кажется, что ты... такъ сильна, что если въ жизни я начну плутать, ты меня выведешь на ясный путь.

Ксенія. Я простая дѣвушка. Ничего такого замѣчательнаго во мнѣ нѣтъ, я могу сказать только одно — что тебѣ я отдаю и жизнь, и душу — все. Все бери, что мнѣ принадлежитъ.

Евгеній. Я такъ и думалъ. Видишь, сейчасъ темнѣетъ, паркъ становится смутнымъ... даже немного жуткимъ. Вслушайся, можетъ, услышишь здѣсь жизнь... эту старую жизнь, мятежную, темную... Тутъ всюду были страсти, можетъ быть, убійство, здѣсь дѣвушка тонула. Черезъ такую-то жизнь и мы съ тобой пойдемъ. А вонъ — встаетъ звѣзда — вечерняя, любовная звѣзда. Это — ты. Ты меня поведешь, твой свѣтъ тихій, ровный. И онъ очиститъ меня? Очиститъ?

Ксенія. Я никому тебя не отдамъ, если бъ на тебя и нападали. Евгеній, я въ одно страшно вѣрю: въ силу любви своей. Если на тебя посягнутъ злыя силы — я тебя прикрою... любовью.

(*За сценой шумъ, вбѣгаетъ Фортунатовъ*).

Фортунатовъ. Гдѣ же Елена Александровна?

Евгеній. Что съ вами?

Фортунатовъ. Тамъ, Богъ знаетъ, что происходитъ... Боже мой, какая непріятность...

Ксенія. Что такое, Діодоръ Алексѣичъ?

Фортунатовъ. Опять Коля... Онъ такой несдержанный. Вы знаете... онъ ударилъ Николая Николаича... и вызвалъ его на дуэль.

Ксенія. За что же онъ его ударилъ?

Фортунатовъ. За то, за то... (*молчитъ*). Николай Николаичъ, конечно въ шутку, поцѣловалъ мою жену. Ксенія Александровна, разумѣется, это было нехорошо, но, вѣдь... это въ шутку. Не могъ же онъ сдѣлать этого всерьезъ.

(*Появляются Коля, котораго держитъ подъ руку Тураевъ, Елена, Наташа*).

Коля. Петръ Андреевичъ, я все равно убѣгу... больше я не могу. Можетъ, это и подло, но я не могъ сдержаться.

Тураевъ. Не волнуйся. (*Еленѣ*). Во-первыхъ, надо скрыть отъ Александра Петровича. Онъ старикъ, и такъ ужъ довольно слабъ... Дуэли, конечно, никакой быть не можетъ.

Коля. Я ударилъ человѣка... Но зачѣмъ онъ... топтать такъ грубо!

Фортунатовъ. Однако, Коля, это была шутка съ его стороны. Николай Николаевичъ знаетъ, что Мари моя жена.

Наташа (*Фортунатову*). Вы... вы... (*Машетъ руками, отъ волненія не можетъ ничего сказать*).

(*Входитъ Ник. Ник. Онъ очень взволнованъ, но владѣетъ собой*).

Ник. Ник. Я требую удовлетворенія. Я не могу этого такъ оставить.

Коля. Какъ угодно, извиняться я не буду.

Ник. Ник. (*спокойно*). Я сумѣю этого добиться.

Тураевъ. Во всякомъ случаѣ, сейчасъ ничего нельзя сдѣлать.

Ник. Ник. Почему?

Тураевъ. Надо подождать до завтра.

Ник. Ник. Нѣтъ, не до завтра.

Ксенія (*подходитъ къ Ник. Ник.*). Конечно, не до завтра. Этого откладывать нельзя.

Ник. Ник. Разумѣется.

Ксенія. Ты долженъ извиниться передъ Колей.

Ник. Ник. Я?

Ксенія. Ты.

Ник. Ник. Да... ты понимаешь, что говоришь?

Ксенія. Вполнѣ. Ты долженъ извиниться, потому что ты больше виноватъ, чѣмъ онъ.

Ник. Ник. Ну, прости, это глупо.

Тураевъ. Не такъ особенно... Во всякомъ случаѣ, своеобразно.

Ник. Ник. Что вы, сговорились, что ли?

Ксенія (*тихо*). Когда ты подумаешь хорошенько, Николай, ты со мной согласишься. Ты видишь, тому... другому Николаю... очень больно... онъ ударилъ человѣка... но его вина меньше, чѣмъ твоя.

Ник. Ник. Это просто какое-то полоумie.

Ксенія. Нѣтъ. Это... правда.

(*Молчаніе*).

Фортунатовъ. А если не шутка, то...

III.

Большая высокая терасса со стороны, противоположной первой терассѣ. Со средины ея боковыя лѣсенки въ садъ. Зрителю видна часть цвѣтника передъ террассой; у подножья ея — скамейка. Вечеръ, свадебный ужинъ на терассѣ; на всемъ розовый отсвѣтъ заката, окна дома освѣщены, позднѣе на столъ ставятъ свѣчи въ колпачкахъ. Центръ стола — Ксенія и Евгеній, противъ нихъ Ланинъ, затѣмъ остальные; много гостей, есть подростки, кадеты. Цвѣты, богатая сервировка; шумъ, смѣхъ, чоканье.

Молодой помѣщикъ. Господа, тише, потише, пожалуйста! Михаилъ Ѳедотычъ просилъ слова.

Барыня въ пенснэ. Слушаемъ! Милый Михаилъ Ѳедотычъ — онъ хочетъ говорить!

Ланинъ (*звонитъ по бокалу*). Ти-ши-на!

Михаилъ Ѳед. (*помѣщикъ, старикъ; въ дорогой поддевкѣ и красной атласной рубашкѣ*). Я ужъ что тамъ... какой я тамъ ораторъ, изволите видѣть. (*Встаетъ съ бокаломъ*). Просто... вотъ съ Александромъ Петровичемъ мы сосѣди, ну... тамъ друзья старые, и Ксеничку я помню съ самаго дѣтскаго возраста... мамашу покойную зналъ — достойнѣйшая была женщина. Я и хочу, тово... отъ души пожелать ей, какъ новобрачной, такъ сказать, счастья, ну, тамъ радостей, дѣтей... Благослови Богъ. Я говорить не мастеръ, но отъ всего сердца, ей Богу. (*Подходитъ къ ней съ бокаломъ, обнимаетъ, цѣлуетъ*). Отъ всего сердца.

(*Кричатъ браво, чокаются, веселая суматоха*).

Ланинъ (*хлопая М. Ѳ. по плечу*). Ѳедотычъ-то у насъ... ораторъ. Мнѣ, пожалуй, отвѣчать придется, подвелъ-таки. Мы тутъ съ тобой самое старье... (*тихо смѣются*). Самое старье.

Михаилъ Ѳедотычъ. Ты этакъ съ краснорѣчіемъ, чтобы чувствительно. Я обломъ деревенскій, а съ тебя больше спросится.

Ланинъ. Я обломъ тоже. Мохомъ здѣсь заросъ... Ну, что же, и мы пару словъ. Видно, надо.

Наташа (*въ дальній конецъ стола, гдѣ хихикаютъ подростки*). Тише вы, дѣдушка говоритъ. Т-ссъ, дѣдушка, дѣдушка!

Ланинъ. Господа, благодарю, во-первыхъ, Михаила Ѳедотыча — и отъ себя, да и отъ новобрачныхъ, думаю. За любовь, за теплыя слова. Да. Насчетъ ихъ самихъ — милыхъ дѣтей моихъ — ну, они сегодня улетаютъ, могу повторить, что вотъ онъ сказалъ. А тамъ — (*киваетъ улыбаясь, на конецъ стола, гдѣ молодежь*) — тамъ еще молодость, и по поводу всего сегодняшняго я могу, человѣкъ отжившій, поднять бокалъ за это новое племя. Могу сказать такъ: „Молодость, здравствуй!“ Дай Богъ, господа, всѣмъ вамъ вступить въ жизнь радостно, пронести черезъ нее дары, отпущенные вамъ — чисто, свѣтло, ясно. Ваше счастье!

Фортунатовъ. Браво, Александръ Петровичъ! Браво, браво! (*Подходитъ къ нему*). Весьма счастливъ, что наши взгляды въ этомъ случаѣ совпадаютъ. Именно, пронести черезъ жизнь священные дары. (*Задумчиво*). Несмотря на всѣ испытанія, посылаемыя судьбой.

Мих. Ѳед. Съ чувствомъ сказалъ, старикъ. Кратко, но съ чувствомъ. (*Чокается*). Золотая голова!

Елена (*Тураеву*). Папа нынче философически настроенъ. Въ концѣ концовъ онъ правъ.

Тураевъ. Да, я думаю.

Ланинъ. А теперь, господа молодежь, такъ какъ вамъ, навѣрно, надоѣло сидѣть долго — кто желаетъ, можете вставать, въ залѣ танцовать вамъ можно, скакать, вообще дѣлать что угодно. Разныя печенья, варенья, чай вамъ устроятъ потомъ. И только не благодарить, нѣтъ, нѣтъ, у насъ не полагается.

(*Гимназисты, подростки, барышни съ веселыми лицами все-таки благодарятъ. Встаетъ и кое-кто изъ взрослыхъ. Лакей быстро убираютъ со стола*).

Елена. Надо бы танцы наладить имъ.

Барыня въ пенснэ. Ахъ, я съ удовольствіемъ! Для молодежи я съ удовольствіемъ.

Ланинъ. Ну, Наташкинъ, а ты? Ты не маленькая? Пошла, поплясала бъ?

Наташа. А? Танцовать? Нѣтъ, не хочется, дѣдушка. (*Пожимается*). Мнѣ нездоровится какъ-то.

Ланинъ. Вотъ какая плохая стала козэ! Это нашему брату, ветер-рану (*хлопаетъ по плечу Мих. Θед.*), простительно. А вамъ рано. (*Къ нему же*). Да, братъ, слабъ становлюсь. И сегодня: и радость, волненіе, а какъ-то усталъ. Должно на покой пора.

Мих. Θед. Что жъ, золотая голова: кому плясать, а кому — отдохнуть. И мы поплясали. Ну, да авось поскрипимъ еще. (*Чокается*). Ваше дражайшее.

Ланинъ. Я бъ не прочь поскрипѣть. Посмотрѣть на дѣтишекъ, вотъ Ксеньюшка можетъ внука привезетъ черезъ годъ, два. (*Цѣлуетъ ей руку*). А все-таки жаль мнѣ тебя отпускать... и радъ за тебя, и жаль.

Ксенія. Ничего, папочка, мы пріѣдемъ.

Ланинъ. А ужъ нынче непремѣнно? Въ путь?

Евгеній. Все налажено, Александръ Петровичъ. (*Вынимаетъ часы*). И времени-то мало... Какъ разъ къ поѣзду опоздаемъ. Ксенія, взгляни, все ль уложено? Съ полчаса намъ и быть тутъ.

Ланинъ. Ишь, ишь, какъ торопится. Всюду бъ не опоздать.

Евгеній. Александръ Петровичъ, жизнь разъ дана!

Ксенія (*мужу*). Тебѣ тоже надо... Ты тутъ не засиживайся... (*Уходитъ*).

Мих. Өед. За границу, батюшка? Хе-хе, вуаяжъ де носсъ? Я самъ однажды былъ, и тоже, какъ съ Анной Степановной повѣнчались. Городъ Венеція... тамъ разныя лодочки, водишка... Чудной народъ... но хорошо.

(*Въ залѣ раздается музыка. Слышно, какъ кричитъ распорядитель, начинаются танцы*).

Ланинъ. Балъ начали! Что, посмотримъ, старина?

Мих. Өед. Хо-хо-хо! (*Подъ руку съ Ланинымъ идутъ къ двери. Евгеній уходитъ*). Скажи, пожалуйста! И Сережа мой, туда же!

(*На террасѣ остались Елена, Тураевъ, Ник. Ник., Фортунатовъ и Марья Александровна*).

Марья Ал. А куда же дѣлся Коля? Почему онъ не танцуетъ? Гдѣ бѣдный анар-рхистъ?

Елена. Вы не знаете? Будто!

Марья Ал. Говорятъ, удралъ. Это правда?

Елена. Извини, Николай, ты хоть и считаешься моимъ мужемъ... но мнѣ Колю все-таки жаль. Во-первыхъ, онъ неправъ, второе — молодъ. Да, онъ сбѣжалъ къ сосѣдямъ. Тамъ у него есть другъ, тоже молодой романтикъ...

Ник. Ник. Я хоть и считаюсь твоимъ мужемъ, но думаю, что вы просто потакаете ему, женщины. Это не романтизмъ, а истеризмъ.

Фортунатовъ. Коля просто влюбленъ въ мою жену, какъ и многіе. (*Марья Ал. хохочетъ*). Чего ты смѣешься? Смѣшного ничего нѣтъ. Сегодня за столомъ говорили о

любви хорошо, но кратко. Не выяснили намъ ея природы, и не указали, какой огромный оркестръ любви есть жизнь.

Марья Ал. Конечно, тебя нехватало, чтобы все разъяснить, доказать, опредѣлить въ краткихъ чертахъ.

Фортунатовъ. Ладно, смѣйтесь. Я вижу надъ своей головой вѣчныя звѣзды, мое сердце горитъ отъ любви... (*останавливается и говоритъ спокойно и грустно*) безнадежной, — да, прошу не доказывать мнѣ обратнаго. И я хочу сказать еще одинъ панегирикъ этой любви. Платонъ, Данте! Великія души, обитающія на тѣхъ звѣздахъ, впервые говорившія о божественной любви — взгляните на насъ! вотъ тутъ мы всѣ, такъ сказать, въ этой усадьбѣ Ланиныхъ, захвачены силой любовнаго тока, который крутитъ насъ, сплетаетъ, расплетаетъ, и однимъ даетъ счастье, другимъ — горе: мы отсюда подымаемъ къ вамъ взглядъ, какъ къ чистымъ высотамъ, остающимся всегда въ покоѣ. Венера — духъ той Венеры, быть-можетъ, что стоитъ въ этомъ саду, играетъ нами какъ щепками кораблей въ водоворотѣ.

Ник. Ник. Діодоръ Алексѣичъ, не заноситесь! — Слишкомъ возвышенно.

Фортунатовъ. Нѣтъ, я правъ. Всѣ мы переживаемъ драмы, а если молчимъ, это ничего не значитъ. Я продолжаю: играетъ Венера не одними нами, а всей жизнью, всѣмъ міромъ, ибо его основа — любовь. Но и мы, бѣдные Робинзоны — возносимъ хвалу этой вѣчной и святой стихіи. Мы должны лишь очистить ее, принимать въ томъ свѣтломъ сіяніи, какъ видѣлась она вамъ, великіе учители.

Тураевъ. Почему вы смѣетесь, Марья Александровна?

Марья Ал. (*взволнованно*). Я не смѣюсь. (*Хлопаетъ Фортунатова по плечу*). Бѣдный рыцарь Кихада!

Фортунатовъ. Тотъ безумецъ былъ великимъ, ты забываешь!

Марья Ал. А подъ носомъ тоже ничего не видѣлъ.

(*Входитъ Наташа*).

Наташа. Господа, сейчасъ уѣзжаетъ Ксенія.

Марья Ал. Ксенія уѣзжаетъ?

Фортунатовъ (*не обращая вниманія, женѣ*). Позволь, почему ты думаешь, что я не замѣчаю?

(*Входитъ Ксенія, Евгеній. Они въ дорожныхъ костюмахъ, нѣсколько взволнованы*).

Ксенія. Вотъ я и уѣзжаю... изъ отчаго дома. Съ папой не могу тутъ прощаться, пожалуй, расплачусь. (*Цѣлуетъ Елену*).

Елена. Милая — прощай! (*Обнимаетъ ее*). Мнѣ съ тобой тяжело разставаться именно теперь... Точно ты ангелъ тишины, мира. Ты отъ насъ уйдешь, жутко станетъ. (*Стоятъ обнявшись*).

Тураевъ. (*Евгенію*). Въ Мантуѣ остановитесь, хоть на день. Не будете жалѣть.

Евгеній. Постараюсь, непремѣнно. (*Оборачивается*). Ксенія!

Ксенія. Сейчасъ. (*Креститъ Елену*). Время для васъ тяжелое, я же вижу. Будьте счастливы, всѣ здѣсь счастливы. Наташа, дорогой ты мой! (*Обнимаетъ сквозь слезы*). Я бъ еще была радостнѣй, если бы у васъ тутъ... ну, дай Богъ, дай Богъ.

Лакей (*въ дверяхъ*). Барыня, Александръ Петровичъ васъ ждутъ-съ, и лошадки поданы.

Ксенія. Я буду тебѣ писать. (*Громко*). Иду, иду. (*Прощается съ присутствующими, выходитъ съ Евгеніемъ*).

Ник. Ник. Проводы, балъ, все блестяще.

(*Выходитъ съ Марьей Ал. За ними остальные, кромѣ Наташи, Фортунатова*).

Фортунатовъ. Да, да, все блестяще. (*Наташѣ*). А вы не провожаете тетку?

Наташа. Нѣтъ.

(*Въ залѣ музыка смолкаетъ, слышны крики*: „*Прощайте, Ксенія Александровна*! *Всего лучшаго*“ *и т. д. Нѣкоторая суматоха*).

Фортунатовъ. Мнѣ тоже, долженъ сознаться, не хочется. Ну, да я другое дѣло. Но вотъ вы... Я смотрю на васъ, Наталья Михайловна и, какъ дѣдушка вашъ, не могу не удивляться, что вотъ вы, совсѣмъ еще молодая дѣвушка, полуребенокъ, такъ прочно впали въ меланхолію.

Наташа. А! Въ меланхолію. (*Помолчавъ*). А какая была по-вашему эта Pélagie... помните, дѣдушка разсказывалъ?

Фортунатовъ. Вотъ — и снова ваша мысль обратилась къ образу, который долженъ вызывать печаль. Между тѣмъ, вы имѣете столько данныхъ для прекрасной и богатой жизни.

(*Слышны колокольчики, шумъ уѣзжающаго экипажа*).

Наташа. Вы мало видите вокругъ себя.

Фортунатовъ. Позвольте, то же самое сказала мнѣ сейчасъ жена, и я попрежнему ничего не понимаю. Я вижу, что вы изъ веселой жизнерадостной дѣвушки, какой я помню васъ въ первые дни моего пріѣзда, стали мрачной; что на меня всѣ какъ-то странно смотрятъ, въ особенности послѣ этой... неумѣстной, быть-можетъ, шутки Николая Николаевича, и исторіи съ Колей.

Наташа. Ну... хотите, я вамъ прямо все скажу?

Фортунатовъ. Конечно, хочу, конечно.

Наташа. Мужемъ Марьи Александровны будете не вы, а Николай Николаевичъ. (*Отходитъ. Фортунатовъ молчитъ*). Что бы вы сдѣлали, если бъ убѣдились въ этомъ?

Фортунатовъ. Я... я... все такъ странно, я просто удивленъ. (*Волнуясь*). Вы мнѣ говорите такія вещи!

(*Наташа отходитъ въ дальній уголъ терассы и садится въ лонгшезъ*).

Наташа. Такія вещи, вещи. (*Рѣзко*). Если бъ я была мужчиной, я бъ убила соперника.

(*Изъ дома выбѣгаетъ группа подростковъ и молодежи*).

Дѣвочка лѣтъ четырнадцати. Ухъ, жарко! Наташа, что жъ ты не вышла къ Ксеніи Александровнѣ?

Кадетъ. Господа, одну минуту, не разбѣгайтесь!

Гимназистъ. Соня, вы со мной? Визави Павликъ и Дебольская.

Соня. Нѣтъ, я ему обѣщала. (*Даетъ руку кадету*).

Гимназистъ. Это предательство, Соня, вы согласились.

(*Голоса*: „*Ты кадриль любишь? Нѣтъ, гайавату. Ну, это глупости*“).

Второй кадетъ (*подлетаетъ къ Наташѣ*). Смѣю васъ просить?

Наташа. Кадриль? Нѣтъ, устала.

Кадетъ. У насъ и взрослые танцуютъ — Марья Александровна.

Наташа. Не могу. Просто, не могу сейчасъ.

(*Кадетъ кланяется. Входитъ Елена съ Тураевымъ*).

Елена. Ну, вотъ балъ въ полномъ ходу. Хорошо, хоть эти веселятся. Дѣдушка бѣдный разстроился, ушелъ къ себѣ.

(*Распорядитель въ залѣ кричитъ*: „Messieurs, engagez vos dames“).

Кадетъ. Ну видите, я же говорилъ, пора . . . Соня, вашу руку.

Гимназистъ. Ахъ ты Боже мой, у меня до сихъ поръ нѣтъ дамы.

(*Съ шумомъ убѣгаетъ*).

Тураевъ. Богъ мой, какъ всѣ выросли! Все дѣти сосѣдей, земцевъ нашихъ, давно ли ходили подъ столомъ, а теперь туда же... (*Вздыхаетъ*). Того и гляди тоже начнутъ ревновать, ссориться.

Елена. Это мы съ вами старѣемъ, Петръ Андреичъ, оттого намъ и кажется, что время идетъ быстро.

Тураевъ. Конечно, старѣемъ, конечно. Но надъ нами жизнь еще такъ же сильна, какъ и надъ ними.

Елена. Какъ еще сильна! (*Подходитъ къ перилamъ*). Вотъ Діодоръ Алексѣичъ говорилъ о звѣздахъ, о любви. (*Кладетъ голову на перила. Фортунатову*). Понимаете ли вы, какъ вы хорошо сказали? Понимаете ли вы себя, — знаете ли вы, кто вы?

Фортунатовъ. Ну, какъ это сказать. Фортунатовъ, Діодоръ Алексѣичъ.

Елена. Нѣтъ. Вы милый, чудесный поэтъ, ученый фантазеръ. Кто въ наше время увлекается звѣздами, Данте, любовью? Вы не понимаете сами, не чувствуете своего духа... потому что вы скромны.

(*Фортунатовъ молчитъ. Тураевъ медленно спускается съ лѣстницы въ садъ*).

Елена. Да, я говорю правду, это же такъ, я знаю (*Тураеву*). Вы куда уходите? Почему? Я веду себя неприлично? Вы меня не одобряете, Петръ Андреичъ?

Тураевъ (*сдержанно*). Нѣтъ, я никого не порицаю. Я... спускаюсь. Ночью въ цвѣтникѣ особенно благоухаютъ левкои.

(*Сходитъ еще нѣсколько шаговъ. Дойдя до послѣдней ступеньки останавливается и стоитъ нѣкоторое время молча*).

Елена. „Укрытъ покровомъ темной нощи... темной нощи“.

(*Быстро входитъ Марья Александровна*).

Марья Ал. Да, довольно. (*Подходитъ къ мужу, энергически хлопаетъ его по плечу*). Довольно, мой другъ. Не сердись на меня.

Фортунатовъ. За что мнѣ сердиться?

Марья Ал. Ты можешь на меня имѣть сердце, я была плохой женой. Ты заслуживаешь лучшаго. Тебя должна любить тихая Гретхенъ, и вы съ ней будете вздыхать.

Фортунатовъ. Но къ чему ты все это говоришь?

Марья Ал. Къ тому, что я отсюда уѣзжаю.

Фортунатовъ. Куда? Да почему ты уѣзжаешь, Машенька?

Марья Ал. (*дѣлаетъ неопредѣленный жестъ рукой*). Такъ, вообще. Я не одна ѣду. Съ Николаемъ Николаевичемъ.

(*Наташа вскакиваетъ съ лонгшеза и сбѣгаетъ въ садъ*).

Марья Ал. (*возбужденно оглядывается*). Да, конечно, мы вносимъ всюду страданія. Что же дѣлать! Тѣсно мнѣ съ тобой, душно. Я хочу большой жизни... большихъ чувствъ.

Фортунатовъ. Ты любишь... его.

Марья Ал. Я своей жизни никому не отдамъ. Я проживу ее сама — какъ найду нужнымъ, и чтобъ умирая могла сказать. „Кончено. Все знаю“. (*Мужу, мягче*). Ты — первое поприще мое. Я вышла замужъ дѣвчонкой, и во мнѣ силы спали долго, долго. Ты милъ, но ты мягокъ, слабъ. Ты не герой. Не тебѣ отвѣтить проснувшейся жизни. Мнѣ теперь подъ тридцать. Я завяну съ тобой — черезъ десять лѣтъ я начну старѣть — и еще я не знала страсти. Нѣтъ, нѣтъ!

Фортунатовъ (*тихо*). Иди. Будь... счастлива.

Марья Ал. (*возбужденно*). Слышишь? Слышишь вальсъ? Всѣ они тамъ, эти дѣти, юноши — летятъ въ свѣтлую бездну жизни. И Ксенія, и Евгеній — всѣ туда,

къ солнцу. Я тоже хочу танцовать. Мы должны танцовать сейчасъ.

(*Убѣгаетъ. Музыка сильнѣй, кружащіеся вихремъ силуэты въ окнахъ*).

Фортунатовъ (*медленно подходитъ къ Еленѣ*). Я не Кихада, я смѣшной мужъ, профессоръ, чудакъ, котораго едва терпятъ. (*Улыбаясь кротко*). Вотъ они, туманно-обольстительныя предчувствія, съ которыми я сюда ѣхалъ. А вышло, Елена Александровна, что моя жизнь кончилась здѣсь, въ усадьбѣ Ланиныхъ.

Елена. И моя.

Фортунатовъ. Почему же ваша?

Елена (*беретъ его за руки и смотритъ въ глаза*). Потому что... Всѣ эти мѣсяцы я терзалась и была счастлива, что вы тутъ — прекрасный, прекрасный... Ну, ладно, я заболталась. Но я именно хочу сказать...

Лакей (*въ дверяхъ*). Елена Александровна, чай поданъ на томъ балконѣ-съ.

Елена. Хорошо, иду. (*Быстро уходитъ*).

(*Фортунатовъ сидитъ молча, потомъ встаетъ и медленно спускается въ садъ*).

Фортунатовъ. Елена Александровна любитъ... Какъ все странно.

(*Навстрѣчу изъ сада медленно приближаются Тураевъ подъ руку съ Ланинымъ*).

Ланинъ. Да, милый ты мой, все мѣняется, все. (*Фортунатову*). Что, профессоръ, и вы устать изволили? (*Садится на скамейку у подножья терассы*). Тоже свѣжаго воздуху захотѣли? Нынче шумный былъ день, ахъ, какой шумный. Церковь, вѣнчаніе, всѣ эти образа, пѣніе, утомляютъ... особенно, когда за плечами шестьдесятъ лѣтъ.

Тураевъ. Послѣ этого отдыхаешь сейчасъ. Взгляните, роса, сѣномъ пахнетъ, звѣзды.

Ланинъ. Я васъ понимаю, да, да, дорогой. Лучше неба ничего нѣтъ на свѣтѣ. Звѣзды столь прекрасная вещь, что легенды о томъ, будто тамъ живутъ души умершихъ, не кажутся мнѣ безсмысленными.

Фортунатовъ. Эти легенды вѣчны.

Ланинъ. Старческій мистицизмъ.

Тураевъ. Діодоръ Алексѣичъ хорошо говорилъ нынче о вѣчномъ круговращеніи жизни и любви.

Ланинъ. Жаль, я не слышалъ. (*Помолчавъ*). А теперь Ксеньюшка наша далеко. Пожалуй, къ станціи подъѣзжаютъ. Вотъ она и жизнь-съ!

(*За сценой, направо отъ дома, отдаленный шумъ. На террасѣ показывается Елена*).

Елена. (*Взволнованно, глухимъ голосомъ*). Петръ Андреичъ!

Тураевъ. Я здѣсь.

Елена. На минуту.

(*Тураевъ встаетъ и быстро всходитъ наверхъ.*)

Ланинъ. Что это Елена — встревожена?

Фортунатовъ. Но вообще Елена Александровна сегодня очень нервна.

(*Тураевъ и Елена шепчутся, потомъ изъ дому выбѣгаетъ лакей, что-то говоритъ имъ*).

Елена (*вскрикиваетъ*). Наташа?

(*Оба быстро выходятъ*).

Ланинъ. Что такое? Она сказала — Наташа?

Фортунатовъ. Да, какъ будто. (*Встаетъ и торопливо подымается*). Вы не безпокойтесь, Александръ Петровичъ,

я сейчасъ узнаю и скажу вамъ. Можетъ-быть, легкое нездоровье...

Ланинъ. Нѣтъ, ужъ нѣтъ, я самъ. Нѣтъ, ужъ я не могу. (*Старается поспѣть за нимъ, но ноги плохо слушаются*). Старость, старость. Господи, что такое, отчего Елена такъ закричала?

(*На терассѣ на него налетаетъ молодежь*).

Распорядитель (*въ дверяхъ*). Господа, въ эти двери выходъ, да тамъ растворите, захватывать весь балконъ и обратно въ залъ. (*Ланинъ пробирается съ трудомъ къ двери въ кабинетъ*). Анна Ефимовна, галопъ пожалуйста! (*Хлопаетъ въ ладоши*). En avant, en avant! (*Мчится въ головѣ змѣеобразной цѣпи молодежи, которая хохоча, сваливая по дорогѣ стулья, облетаетъ вокругъ стола и вносится въ другую дверь залы*).

Михаилъ Ѳедотычъ (*въ дверяхъ*). Затолкаютъ, прошу покорно. Затолкаютъ живьемъ, какъ на Ходынкѣ.

Барышня. Михаилъ Ѳедотычъ, берегитесь!

Кадетъ (*съ хохотомъ*). Дорогу, дорогу!

Мих. Ѳед. Ишь разгулялись! Да не я ль васъ собью?

(*Смѣясь загораживаетъ собою входъ, на него наскакиваютъ, хохотъ, образуется давка, изъ которой онъ со смѣхомъ выбирается на балконъ*). Гдѣ жъ Петровичъ? (*Прикладываетъ руки къ губамъ рупоромъ, кричитъ*). Алек-сандръ Петровичъ!!

(*Изъ сада вбѣгаетъ Ник. Ник*).

Ник. Ник. Не кричите! Фу, ты, Боже мой! Сумасшедшая дѣвочка.

Мих. Ѳед. Что такое? Милый мой?

Ник. Ник. Наташа въ прудъ бросилась, вотъ вамъ и милый.

Мих. Ѳед. Да не можетъ быть?

Ник. Ник. Мы съ Марьей Александровной гуляли... ну, я же и вытащилъ. Хорошо еще — скоро захватили.

Мих. Ѳед. Милый мой, что жъ такое? (*Хватая его за руку*). Да жива ль, жива?

Ник. Ник. Ну, теперь тамъ тьма народу... Да. Жива. Опоздай я на минуту... (*Рѣзко машетъ рукой*). Чуть самъ не пропалъ съ ней. А ужъ какъ плаваю. Фу, ты, Боже мой! Коньякъ-то есть ли? Не могу. Напьюсь нынче. Да, жива. Пульсъ, ну... все какъ слѣдуетъ. (*Изъ залы крики*: „*Анна Ефимовна, шестую*! grand rond!“). И эти идіоты орутъ.

(*Оба быстро и взволнованно уходятъ. Изъ зала снова вылетаетъ молодежь, затопляетъ собой терассу, музыка бравурнѣй, все быстрѣй темпъ, съ визгомъ, хохотомъ несется второй* grand rond, *опрокидывая стулья, обрываясь мѣстами. Изъ сада бѣжитъ Фортунатовъ*).

Фортунатовъ. Тише, господа, перестаньте, пожалуйста! Остановите музыку.

(*Рояль заливается, цѣпь мчится быстрѣй*).

IV.

Зала съ огромными окнами и дверью на балконъ. Все растворено. Далекій видъ за рѣку, въ поля. День опаловый, слегка накрапываетъ дождь, но по временамъ выглянетъ солнце, тогда сіяютъ старые золотые часы на подзеркальникѣ, свѣтятся зеркала подъ тонкимъ слоемъ пыли. Тихое благоуханіе лѣта.

(*Тураевъ сидитъ въ креслахъ, передъ нимъ ходитъ Николай Николаевичъ, заложивъ руки за спину*).

Ник. Ник. Въ сущности, надо уѣзжать. Понимаю. Смущаетъ болѣзнь Александра Петровича — а у насъ и вещи уложены.

Тураевъ. Разумѣется, ему будетъ это тяжело. Но и атмосфера здѣсь у насъ нелегкая. Вы забываете, что Наташа едва оправилась. Фортунатовъ тоже Богъ знаетъ на что похожъ, хоть и крѣпится. Да и Еленѣ Александровнѣ было бы легче, я думаю.

Ник. Ник. Вы говорите: у насъ, у насъ. (*Улыбается*).

Тураевъ (*смущенно*). Да, я не имѣю права этого говорить, вы такъ точны и пунктуальны... (*Встаетъ*). Конечно, я въ этой усадьбѣ чужой человѣкъ, но... да вы понимаете, я такъ часто здѣсь бываю... ну да, такъ тутъ много моего, я забросилъ земство, дѣла по имѣнію...

Ник. Ник. (*останавливаясь передъ нимъ*). Не надо говорить. Я же знаю. Пунктуаленъ, точенъ. Я былъ педантомъ, Петръ Андреичъ, а теперь я другой человѣкъ. Я когда-то любилъ Елену.

Тураевъ (*морщится*). Ахъ, не говорите. Этого вы не можете понять.

Ник. Ник. Ну, конечно, не могу. Я теперь не могу понять, потому что принадлежу другой. (*Рѣзко*). А-а, свернетъ она мнѣ шею, но и я... Я человѣкъ горячій. Тоже за себя постою.

Тураевъ. А по-моему, это счастье.

Ник. Ник. Какое тамъ счастье?

Тураевъ. Если женщина, которую любишь, свернетъ тебѣ шею.

Ник. Ник. Разумѣется! Вы мечтательный членъ училищнаго совѣта. (*Подумавъ*). А можетъ, вы и правы.

Тураевъ. Правъ, конечно. Возвращаясь же къ нашему разговору — я бы все-таки уѣхалъ на вашемъ мѣстѣ.

Ник. Ник. Марья Александровна то же говоритъ. А какъ уѣхать?

Тураевъ. Просто... бѣжать. Александру Петровичу скажемъ, что вы уѣхали въ гости, потомъ что-нибудь придумать, что васъ экстренно вызвали... и не говоря всего... кончить.

Ник. Ник. Да. Такъ.

Тураевъ. Велите запречь пару въ телѣжку, два чемодана... Марья Александровна можетъ васъ встрѣтить за паркомъ — и конецъ. Никакихъ прощаній не нужно. Оставьте письма, кому захотите.

Ник. Ник. (*рѣшительно*). Вѣрно. Вы способны дать хорошій совѣтъ.

Тураевъ (*съ улыбкой*). Да, только не по отношенію къ себѣ.

Ник. Ник. Рѣшаться, что ли? (*Вынимаетъ часы*). Сегодня въ семь къ поѣзду — и все сразу — конецъ. (*Звонитъ*). Ладно, ѣдемъ. Только никому, пожалуйста. Наташѣ, мужу — никому. Особенно Наташѣ. (*Входитъ лакей*). Къ семи мнѣ пару въ телѣжку. Не запаздывать, прошу покорно.

(*Лакей кланяется и уходитъ*).

Тураевъ. Я Наташѣ не скажу, конечно. Но по-моему, это не подѣйствовало бы такъ, какъ вы думаете. Она имѣетъ видъ много пережившаго человѣка, перемучившагося.

Ник. Ник. Мнѣ жаль ее. Хорошая дѣвушка. Почему-то меня полюбила... глупо! А Александръ Петровичъ не встанетъ. Жаль старика, да что дѣлать.

(*Входитъ Елена. Она видимо разстроена. Садится на диванъ*).

Елена. Папа заснулъ сейчасъ. А тутъ эта молодежь во флигелѣ... Положимъ, они пріѣхали на два, на три дня и скоро уѣзжаютъ... но ужъ у насъ все такъ невесело... Это кровоизліяніе въ воскресенье... докторъ хоть и говоритъ, что при покоѣ опасности мало, а я какъ-то смущаюсь.

Тураевъ. Какъ вы устали, Елена Александровна!

Елена. Да, еще, Николай: здѣсь Коля, ты знаешь, онъ нынче вернулся, и теперь они съ Наташей отбываютъ обязанности гостепріимства. Но Коля просилъ поговорить съ тобой. Онъ проситъ у тебя прощенья. Николай, кончи это жалкое дѣло.

Ник. Ник. Можно. Это все пустяки.

Елена. Да? Отлично. Петръ Андреичъ, позовите его, онъ тутъ рядомъ, въ комнатѣ. Я на всякій случай взяла его съ собой. (*Тураевъ подходитъ къ двери и зоветъ*: „*Коля*“. *Коля входитъ*).

Тураевъ. Вотъ и онъ.

Елена (*слабо*). Ну, миритесь.

Тураевъ. Можетъ-быть, намъ уйти?

Коля. Не надо. (*Приближается къ Ник. Ник*). Николай Николаевичъ, я сдѣлалъ гадость. Меня мучаетъ это. Я прошу у васъ прощенья. Если хотите, ударьте меня. Вы имѣете право.

Ник. Ник. Вздоръ. Вашу руку. (*Жметъ ее*). Вотъ и все. Драться-то, вообще говоря, не стоитъ, ну, что по-

дѣлаешь. Я самъ разъ далъ по физіономіи. Да и тутъ, въ этой усадьбѣ такая путаница, что никто ничего не разберетъ.

Коля (*мрачно*). Просто я былъ подлецъ. Человѣческая личность священна. Я оскорбилъ ее, пошелъ противъ своихъ же принциповъ. Это гнусно.

Ник. Ник. Забудьте.

Коля. Нѣтъ, всего не забудешь! (*Еленѣ*). Тетя Елена, отчего все такъ странно выходитъ? Ты меня помирила съ Николай Николаичемъ, а въ сущности лучше бы было, если бъ я вызвалъ его тогда на дуэль, и онъ убилъ бы меня.

Елена. Вотъ и ты, Коля, думаешь все, Богъ знаетъ, о чемъ.

Коля. Наташа храбрая. Она какъ мужчина сдѣлала.

Тураевъ. Но позвольте, почему же всѣ должны лишать себя жизни, убивать, топиться? Я никакъ не пойму.

Коля. У кого въ глазахъ видна смерть, долженъ встрѣтить ее смѣло.

Тураевъ. Но, вѣдь, всѣ несчастны. Если такъ разсуждать, то придется чуть не всѣмъ намъ...

Коля. Что жъ, дерзайте. Неужели покориться слѣпой жизни?

Тураевъ. Не то, чтобы покориться, — но принять страданія жизни... любви. Взгляните: вечеръ, солнце сіяетъ кротко сквозь дождичекъ... Такъ же, мнѣ кажется, въ душѣ человѣка есть божественный огонь, который ведетъ его сквозь тягости... по пути, который ему дано совершить.

Елена. Въ людяхъ очень молодыхъ, Тураевъ, чувства бурнѣй, непосредственнѣй нашихъ. Вы не докажете имъ, что на человѣка возложено нѣкое бремя, можетъ быть, не отъ міра сего. Страсти зовутъ ихъ въ бой.

Тураевъ (*горячье*). Да, но мы — мы, быть можетъ, не менѣе ихъ страдаемъ — и должны же мы все-таки сказать имъ нашу правду о жизни.

Елена (*наигрываетъ*). Да, конечно. Только они будутъ поступать по-своему.

Ник. Ник. Что касается меня, я больше согласенъ съ Колей, чѣмъ съ вами.

Елена. Разумѣется.

Тураевъ. Нѣтъ, вы неправы. Жизнь есть жизнь — борьба за свѣтъ, культуру, правду. Не себѣ одному принадлежитъ человѣкъ. Потому и въ горѣ... надо, чтобъ онъ былъ выше себя, выше счастья.

Коля. Можетъ быть. Не хочу сейчасъ спорить. Николай Николаичъ, пойдемте, помогите мнѣ занимать этихъ гостей моихъ, если правду на меня не сердитесь. Сыграемъ, что ли, въ теннисъ.

Ник. Ник. Идемъ. Пусть они философствуютъ.

Елена. Только подальше отъ дома, ради Бога. Все же помните: папа боленъ. (*Вздыхаетъ*). И по моему — серьезно.

(*Коля съ Ник. Ник. выходятъ, Елена попрежнему наигрываетъ на рояль. Нѣкоторое время молчаніе*).

Елена. Какъ расцвѣлъ мой мужъ! Вотъ она, любовь. Онъ посредственность, самый средній человѣкъ изъ среднихъ, а глядите: онъ теперь другой.

Тураевъ. Да. Они ѣдутъ сегодня. По моему совѣту. Чуть ли не тайкомъ, въ телѣжкѣ, чтобы не разстраивать никого, Александра Петровича не безпокоить.

Елена. Такъ. Это хорошо.

Тураевъ. Они ѣдутъ, мы остаемся. (*Встаетъ, подходитъ къ ней*). Елена Александровна!

Елена. Да.

Тураевъ. Можно вамъ сказать одну вещь?

Елена. Говорите, другъ мой.

Тураевъ. Ну... отвѣтьте мнѣ. Но только такъ ужъ... по совѣсти. Вы знаете, что я васъ люблю?

Елена (*закрываетъ рояль, опускается лбомъ къ его крышкѣ*). Знаю. (*Протягиваетъ ему руку*). Милый мой, милый мой. Мнѣ нечего вамъ сказать.

Тураевъ. Я, вѣдь, знаю, вы любите другого. Но вы такъ прекрасны! Я не могу вамъ не сказать этого. Мнѣ какъ-то жутко съ вами, я все больше молчу, или если говорю, то пустое. Это потому, что если буду говорить вотъ такъ, какъ сейчасъ, то не выдержишь, вѣдь.

Елена (*сквозь слезы*). Боже мой, всѣ несчастны!

Тураевъ. Значитъ, такъ надо. (*Цѣлуетъ ей руку*). Свѣтлая моя заря, чистая заря.

Елена (*чуть-чуть улыбается*). Ахъ, Тураевъ, развѣ теперь говорятъ такъ? вы отживающій типъ, сороковые годы.

Тураевъ. Пусть отживающій. Я такъ чувствую.

(*Входитъ лакей съ почтой*).

Лакей. Газеты-съ, повѣстка и заказное.

Елена. Сюда давайте. (*Беретъ письмо*). А, Энгадинъ. Отъ нашихъ. (*Читаетъ про себя*).

Тураевъ. Можетъ быть, въ вашей усадьбѣ, гдѣ есть масонскія книги, Венера восемнадцатаго вѣка, бюстъ Вольтера — все пережитокъ. И лакей этотъ пережитокъ. Ну, и я тоже.

Елена (*оживленно*). Слушайте! Это письмо отъ Ксеніи. (*Читаетъ вслухъ*). „Дорогая Елена, я немного безумная, такъ я счастлива. Третьяго дня мы встрѣчали утро въ горахъ, у снѣговыхъ вершинъ. Было розово, прозрачно, и такъ тихо, что казалось, будто весь міръ внизу, видимый такъ безпредѣльно далеко, отошелъ отъ насъ совсѣмъ. И когда я вспомнила всѣхъ васъ, мнѣ вдругъ стало такъ больно за васъ, и такъ стыдно за свое счастье. Потомъ мы вернулись, и дома я читала Евангеліе. Я думала о жизни, о счастьѣ, и неожиданно мнѣ стало казаться, что стыдиться счастья нечего. Не такъ же ли оно священно, Елена, какъ и горе? Ахъ, я хотѣла бы видѣть сейчасъ

тебя, говорить съ тобой: можетъ быть, то, что я написала, неправда, и я стараюсь просто оправдаться?“ (*Елена опускаетъ письмо*). Нѣтъ, оправдываться не въ чемъ. Ну, конечно, она права: „Счастье священно такъ же, какъ и горе“.

Тураевъ. Помните день, весной, когда она пришла изъ полей съ золотистымъ отблескомъ въ лицѣ, и Наташа назвала ее „золотой королевой“. Это былъ день ихъ обрученія.

Елена. Вотъ оно счастье и есть! (*Встаетъ, прохаживается*). Рядомъ съ нами — съ вами, со мной, жизнь выращиваетъ нѣжные цвѣты и на нихъ изливаетъ всю силу радости. Вы думаете, Тураевъ, я завидую? (*горячо*). Нѣтъ, я клянусь вамъ: нѣтъ. Наоборотъ, меня радуетъ это... очень, очень. Значитъ, говорю я себѣ: не оскудѣла еще рука дающаго. (*Останавливается у двери; удивленно*). Боже мой, папа? (*Изъ другой комнаты голосъ: „Ну да, да, что жъ удивительнаго“. Входитъ Ланинъ, очень медленно, опираясь на палку и на плечо Наташи*).

Ланинъ. (*Онъ сильно измѣнился, осунулся и ослабъ*). Вотъ и пришелъ, старикъ плантаторъ. Медики говорятъ: сердце, двигаться нельзя, тройной пара-эндо-кардитъ, а я взялъ и вышелъ. Скучно мнѣ лежать, Елена. Я-бъ хотѣлъ пройтись по дому, и даже, и даже... (*Начинаетъ волноваться*). Гдѣ моя шляпа соломенная, Елена?

Елена. Шляпу я найду, да куда ты хочешь, скажи пожалуйста?

Ланинъ. Заснулъ сейчасъ немного, и во снѣ видѣлъ Наденьку. Такъ вотъ я хотѣлъ бы да... къ ней пройти.

Елена. Папа, милый, вамъ нельзя же.

Ланинъ. Знаю, знаю. И все-таки... ну, пойду. Не говори мнѣ пустого.

Елена. Да тогда васъ можно въ креслѣ докатить.

Ланинъ. Не хочу. Я не грудной младенецъ... въ колясочкѣ.

Тураевъ. Александръ Петровичъ, вѣдь, сейчасъ и дождикъ начался. Перестанетъ, тогда пойдемъ, я берусь васъ провести.

Ланинъ. Дождикъ. Это непріятно. Да вы всѣ хитрые, я понимаю. Вотъ Наташенька бы меня и безъ дождика провела. Хорошо, переждемъ. Такъ обѣщаешь меня доставить, Андреичъ?

Тураевъ. Непремѣнно.

Ланинъ. Такъ, такъ. (*Беретъ газету*). А-а, почта. Новенькаго нѣтъ ли?

Елена. Папа, письмо отъ Ксеніи, изъ Швейцаріи.

Ланинъ (*сразу проясняется*). Да-ну! Это мнѣ пріятно. И хорошее письмо?

Елена. Очень, папа. Она страшно, страшно счастлива.

Ланинъ. Вотъ ужъ это хорошо. Слава Богу. Радъ за Ксеньюшку. И вернутся скоро?

Елена. Этого не пишетъ. Вѣдь, они предполагали на полгода.

Ланинъ. А ты ей напиши, чтобы точно отвѣтила. (*Вздыхаетъ*). Вотъ это вотъ хорошо, что она счастлива. (*Еще тише*). Этому, Елена, я весьма радъ, скажу прямо. (*Пауза*). Я теперь сталъ что-то подолгу задумываться: сижу, и думаю... точно впередъ заглядываю. И все такъ выходитъ, что тебѣ, Елена, и Наташенькѣ... да, вы хорошія очень дѣти... только вамъ какъ-то выходитъ хуже, а Ксеніи получше. Можетъ, это я изъ ума ужъ выживаю, но такъ мнѣ мерещится. Потомъ еще эта барыня... Марья Александровна — тоже огневая. Эта сокрушитъ многихъ.

Елена. Ахъ, папа, вы меньше думайте! Вамъ надо лежать тихо, и смотрѣть, какъ солнце свѣтитъ, какъ цвѣты растутъ.

Ланинъ. Я и дѣлаю такъ, милый другъ. Я стараюсь. Мнѣ вотъ Наташенька — радость, я бы ей что-нибудь помогалъ учиться... Ну, тамъ какіе-нибудь переводы,

mythologie. Жалѣю, что нѣтъ дѣтей совсѣмъ малыхъ... мнѣ это все доставляетъ большую радость. (*Тураеву*). Вотъ бы васъ женить, что ли, Андреичъ, вы бы со своими дѣтишками тутъ около меня толкались.

Тураевъ. Я старъ, Александръ Петровичъ.

Ланинъ. Ну да, да, старъ, разсказывайте!

Елена. Слушай, папа, а тебѣ не мѣшаютъ гости? Молодежь пріѣзжая? Они такъ шумятъ, я просто не могу ихъ унять.

Ланинъ. Племя молодое, незнакомое? Нѣтъ, нисколько. Пусть погалдятъ. Въ мое время играли въ petits jeux, теперь разные футболы. Что жъ, если имъ нравится, пусть и футболы.

Елена. Они нынче чуть не съ утра бѣснуются. (*Подходитъ къ балконной двери*). Вотъ теперь всѣ сюда валятъ. (*На балконѣ шумъ, видны гимназисты, кадетъ, барышни*). Тише, тише, здѣсь дѣдушка, нельзя шумѣть.

Ланинъ. Елена, пусти ихъ, пусти. Я чувствую себя недурно.

Кадетъ, (*въ окно*). Здравствуйте, Александръ Петровичъ, какъ ваше здоровье?

Ланинъ. Здравствуй, воевода. Ну, идите сюда!

Елена (*въ дверяхъ*). Только, пожалуйста, тише, очень васъ прошу.

(*Вваливается вся компанія, съ ними Коля, Ник. Ник., Марья Александровна. Голоса*: „*здравствуйте, дѣдушка, да вы совсѣмъ здоровы! А говорятъ, вы больны. Мы-то безпокоились*“).

Ланинъ. Племя молодое, незнакомое. Ну, какъ футболъ?

Кадетъ (*указывая на гимназиста*). Онъ въ голлъ-киперы не годится, продули, конечно!

Гимназистъ. И совсѣмъ я не причемъ. Надо лучше бить. А беки такіе возможны? Посмотрѣлъ бы у англичанъ.

(*Отходятъ, споря*).

Ланинъ. Елена, сыграй имъ, пусть бы потанцовали.

Дѣвочка. Господа, вальсъ, дѣдушка разрѣшаетъ. Вальсъ!

Елена. Хорошо, пускай. Я буду играть негромко, и васъ тоже прошу: ради Бога, не очень свирѣпствуйте.

Ланинъ. Ну, чего тамъ! Марья Александровна, и вы, прошу покорно.

Марья Ал. Если позволите, я съ удовольствіемъ. (*Тише*). Только мнѣ бъ какъ разъ темпъ побыстрѣй.

Ланинъ. Я васъ знаю! А вы повинуйтесь.

Гимназистъ. Вальсъ, вальсъ! (*Подлетаетъ къ барышнѣ*).

(*Елена играетъ, пары вступаютъ въ танецъ. Ланинъ постукиваетъ въ тактъ ногой*).

Ланинъ. Браво, браво, браво! Господинъ кадетъ, покойнѣе. Козлуете, батюшка. Коля, ты чего жъ?

Наташа. Коля, я тебя приглашаю на туръ.

Коля (*улыбается печально*). Что жъ, идемъ. Танцы глупость... конечно, если хочешь...

(*Танцуютъ нѣкоторое время*).

Ланинъ. А по моему танцы отличная вещь. Какъ никакъ, много красоты.

Тураевъ. Я люблю, тоже.

Ланинъ (*вдругъ утомленно*). Съ удовольствіемъ поглядѣлъ бы еще, да вотъ все... (*откидываетъ голову на спинку кресла*). Туманъ, знаете ли, какой-то, въ головѣ... сердце плохое. Плохое сердце. И какъ-будто все начинаетъ плыть.

Тураевъ. Елена Александровна, довольно.

Елена (*оборачивается*). Ну, я же говорила. (*Перестаетъ играть*). Папа, сдѣлай мнѣ удовольствіе, пойди, лягъ.

Ланинъ (*довольно слабо*). Ахъ, да, да... Я самъ знаю. Жаль, вѣдь, уходить-то. Смотри, вотъ все славныя дѣти, солнышко опять засвѣтило... Да, но надо, конечно.

(*Танцы кончились — голоса: „дѣдушка, давайте, мы васъ проводимъ. Обопритесь на меня. Крѣпче, не стѣсняйтесь. Въ спальню?“ Куча молодежи, окружая его, поддерживая, сопровождаетъ до двери. Марья Ал. и Ник. Ник. остаются, также Коля*).

Елена. Положеніе папы серьезно. Отъ каждаго волненія, сильнаго движенія можетъ быть кровоизліяніе, и тогда...

Марья Ал. (*быстро подходитъ къ ней*). Елена Александровна, вы знаете?

Елена. Ахъ да, насчетъ васъ?

Марья Ал. Да. Мы сегодня ѣдемъ.

Елена. Знаю.

Марья Ал. Мы рѣшили вещи пока здѣсь... оставить. Беремъ мелочи, все уложено уже въ телѣжку. Мы не будемъ ни съ кѣмъ прощаться, только съ вами. Выйдемъ за паркъ, какъ бы для прогулки... Мы идемъ сейчасъ. Седьмой уже (*вынимаетъ часы*). Фортунатова я не хотѣла бы видѣть. Ну, такъ, хорошо. (*Взволнованно*). Не сердитесь на меня. (*Беретъ ее за руки*). Я пріѣхала, много зла, кажется, внесла въ эту усадьбу Ланиныхъ, но ужъ значитъ такъ надо, такъ надо.

Елена (*жметъ ей руку*). Мнѣ сердиться не за что. (*Улыбаясь*). Значитъ, такая ваша судьба. (*Ник. Ник*). Прощай и ты, мой мужъ. Было когда-то время и для насъ съ тобой, было, да прошло. Теперь ты давно уже мнѣ чужой. Но о прежней любви... что жъ, сохранимъ хорошія воспоминанія.

Ник. Ник. (*цѣлуетъ ее*). Прощай. Сохранимъ хорошія воспоминанія.

Марья Ал. (*возбужденно*). Мнѣ и жутко, и радость какая-то есть. Здѣсь, у васъ повернулась моя жизнь. Была я мирной профессоршей, а теперь надо забыть все это. Ну, прощайте. (*Жметъ руку Тураеву, быстро выходитъ. Въ дверяхъ*): Николай, сейчасъ надѣну шляпу, зонтъ возьму, пледъ. Ты аккуратно заказалъ телѣжку? Къ семи?

Ник. Ник. Да. Иди. (*Марья Ал. исчезаетъ. Ник. Ник. задерживается на минуту*). Ну, Елена?

Елена. Ты про что?

Ник. Ник. Сгубитъ меня эта женщина?

Елена (*молчитъ*). Не знаю. (*Тихо*). Можетъ быть.

Ник. Ник. Все равно. Ѣдемъ. (*Кланяется, быстро идетъ къ выходу*). Развѣ мы въ своей власти? (*Исчезаетъ*).

Тураевъ. Развязка.

Елена. Да. И... пора. Надо услать отсюда Фортунатова.

Тураевъ. Надо. Только меня не усылайте. Я, вѣдь, вамъ, Елена Александровна, мѣшать не буду.

Елена. Боже мой, конечно. Я ужъ что. Моя жизнь кончена, Тураевъ. Они (*указываетъ на дверь, куда ушли Н. Н. и М. А.*) еще надѣются. Но... не я. Такъ, хорошо. Гдѣ Фортунатовъ?

Тураевъ. Все это время у себя, во флигелѣ. Что-то работаетъ.

Елена. Милый мой, позовите его.

Тураевъ. Вы... сами скажете?

Елена. Да.

Тураевъ (*пожимается*). Ну, хорошо. Иду.

(*Изъ дверей, куда ушелъ Ланинъ, возвращается молодежь. Съ ними Наташа. Стараются идти безъ шума*).

Гимназистъ. Александръ Петровичъ легъ.

Барышня. Все-таки, какой онъ блѣдный, Елена Александровна.

Елена. Ну, хорошо. Господа, дождь пересталъ, можете идти теперь въ паркъ, или куда-нибудь. Чай будетъ въ семь, на террасѣ.

Кадетъ. Господа, поѣдемте на лодкѣ. Софья Михайловна, какъ вы находите?

Барышня. Отлично. Поѣдемъ по пруду, будемъ пѣть хоромъ, Наташа, вы съ нами?

Наташа. Нѣтъ, благодарю. Я останусь.

Барышня. Ахъ, жаль... Ну, какъ хотите.

(*Уходятъ въ балконную дверь*).

Наташа. Не пойду я съ ними. Устала. (*Опускается около кресла на полъ*). Не хочется. Я съ тобой побуду, мама.

Елена (*садится въ кресло и обнимаетъ ее*). Хорошо, Наташа, ты сдѣлала. Мы такъ давно вмѣстѣ не были.

Наташа. Давно, мама. Чуть не все лѣто.

Елена. Милая дѣвочка моя... милая дѣвочка (*гладитъ ее по волосамъ и цѣлуетъ*).

Наташа. Какъ ты думаешь, мама, почему это?

Елена. Ахъ, Наташа, я все хотѣла съ тобой говорить. Это лѣто было такое странное, и тяжелое.

Наташа. Ты тоже, мама, много страдала.

Елена. Мой другъ... я была плохой матерью. Ахъ, я часто казнилась, но все не могла къ тебѣ подойти.

Наташа (*кладетъ ей голову на колѣни*). Ты меня не разлюбила, мама? Мнѣ было такъ страшно. Вдругъ и мама меня не любитъ? (*Елена плачетъ и ласкаетъ ее*). Ну, конечно, нѣтъ, я понимаю. (*Пауза*). Мама, онъ уѣзжаетъ сегодня? Я слышала, что велѣли запрягать Атласнаго и Кобчика. Я поняла все. Съ ней?

Елена. Милая моя, милая, зачѣмъ говорить...

Наташа. Ничего, будемъ говорить. Я теперь стала спокойная, мама. Тихая дѣвушка въ родѣ Ксеніи. Правда.

Я столько намучилась, что теперь на меня нашелъ какой-то покой. Такъ мнѣ кажется страннымъ, зачѣмъ я тогда на себя покушалась. Все это было какимъ-то навожденіемъ.

Елена. Это первая гроза твоей жизни, дитя.

Наташа. Да, первая. Знаешь, я сегодня была у этой статуи... Венеры. Можетъ быть, она навела на насъ все? Ну, хорошо. И все-таки, я ей поклонилась, поплакала, перечла надписи влюбленныхъ, — и въ сердцѣ поблагодарила за счастье, которое дала мнѣ эта любовь. Ты меня понимаешь, мама?

Елена. Да. Понимаю. (*Вздыхаетъ*). Ты такъ молода и такъ говоришь. — Горе сдѣлало тебя серьезной.

Наташа. Мама, я переживала минуты такого восторга, что, вѣдь, это... это уже навсегда останется. А что мнѣ не вышло въ концѣ счастья, что жъ подѣлать. Оно не всѣмъ дается.

Елена. Не всѣмъ.

Наташа. Что же надо теперь дѣлать?

Елена. Жить, Наташа. Жить ясной и честной жизнью, — потому что на счастье надѣяться нельзя. Вонъ какъ Петръ Андреевичъ говорилъ здѣсь Колѣ: принять надо жизнь, нести бремя, данное намъ, твердо.

Наташа (*улыбаясь*). Это Туръ такъ говорилъ? Колѣ?

Елена. Да. Потому что, видишь ли, жизнь пестрая вещь, какъ-будто большая комедія: одни родятся, другіе умираютъ въ это время, однимъ Богъ даетъ радости много, другимъ — мнѣ, тебѣ, Туру, Фортунатову — мало. Я сегодня получила письмо отъ Ксеніи. Вся она полна счастьемъ своимъ. И Николай, и Марья Александровна идутъ за счастьемъ. И та молодежь ликуетъ. Значитъ, все такъ пестро и перепутано. И движется жизнь вотъ такъ-то.

Наташа (*цѣлуетъ ей руку*). Мама моя! Ты несчастна, тоже.

Елена. Ну, несчастна... Мужества, Наталья. Мужества.

(*Нѣкоторое время стоятъ прижавшись. Затѣмъ Елена тихо наигрываетъ вальсъ. Наташа слушаетъ, потомъ мечтательно начинаетъ вальсировать. У балконной двери останавливается. Въ небѣ встала громадная радуга, и сквозь мелкія, блестящія пылинки дождя свѣтитъ солнце вечера*).

Наташа. Мама! радуга! Богъ далъ радугу въ знакъ мира.

Елена (*встаетъ и подходитъ*). Да, радуга, это миръ. (*Снова стоятъ обнявшись*).

(*Въ дверяхъ появляется сидѣлка*).

Сидѣлка. Елена Александровна!

Елена. А? что вы?

Сидѣлка. Пожалуйте къ папашѣ.

Елена. А? А?

Наташа. Дѣдушка? (*Обѣ выбѣгаютъ*).

(*Нѣкоторое время сцена пуста. Потомъ входятъ Тураевъ и Фортунатовъ*).

Фортунатовъ. Какъ ни хороша, ни мила усадьба Ланиныхъ, все-таки я долженъ, къ сожалѣнію, уѣхать. Въѣзжая, весной, я чувствовалъ, что здѣсь что-то, такъ сказать, измѣнится въ моей жизни. И мнѣ представились ауспиціи мѣстныхъ божествъ благопріятными. Вышло не такъ, но наши судьбы не въ нашихъ рукахъ, повторяю, надо повиноваться. — Да взгляните, какая радуга!

Тураевъ. Дивно. Что за запахъ изъ сада! (*Далеко, съ пруда, доносится смѣхъ и потомъ молодые голоса затягиваютъ хоромъ пѣснь*). Это наши катаются на лодкѣ.

(*Изъ комнаты Ланина пронзительный крикъ Елены*).

Фортунатовъ. Что такое?

(*Тураевъ молчитъ*; *вбѣгаетъ взволнованная сидѣлка*).

Сидѣлка. Александръ Петровичъ скончались.

(*Фортунатовъ и Тураевъ молчатъ. Солнце свѣтитъ, радуга сіяетъ въ небѣ и съ пруда слышнѣй и стройнѣй пѣніе молодежи. Тураевъ крестится*).

ИЗГНАНІЕ

Въ школѣ я учился хорошо, но равнодушно. Хорошо и въ университетѣ, хотя не могъ понять, что университетъ — храмъ, alma mater и прочее. Ходилъ на лекціи, сдавалъ зачеты. Когда пришло время, продѣлалъ въ комиссіи что надо, и такъ какъ не добивался этого, кончилъ чуть не первымъ.

Я родомъ изъ хорошаго круга Москвы: у насъ бывали профессора, адвокаты, писатели, и сначала предполагалось, что меня оставятъ при университетѣ; но я записался помощникомъ къ крупному адвокату, изъ либеральныхъ — онъ составилъ себѣ имя въ политическихъ процессахъ.

Казалось, что я буду хорошимъ адвокатомъ, защитникомъ угнетенныхъ и подписчикомъ прогрессивныхъ газетъ. На самомъ дѣлѣ, былъ я молодъ, довольно здоровъ, образованъ, не глупъ. Даже говорилъ сносно. Что же до аккуратности и честности, то тутъ просто превосходно: о! кліентскихъ денегъ я бы не растратилъ, и по клубамъ не картежничалъ.

Такъ и смотрѣлъ на меня патронъ. Я и самъ зналъ это за собой; и когда товарищи вздыхали слегка завистливо, предполагая, что за звѣздой я самъ пройду въ звѣзды, — я этого не отрицалъ, но сіянье моего маэстро мало меня воодушевляло. Да, зарабатывать тридцать тысячъ пріятно; но сколько для этого нужно возиться съ кліентами, препираться съ предсѣдателями и прокурорами, сколько болтать банальностей и говорить: „мы, передовая адвокатура“ — все это не особенно хорошо.

Однако, я старался и работалъ. Долженъ сознаться, что хотя и не былъ въ ту пору ребенкомъ, родители и въ

этомъ имѣли на меня большое вліяніе. Дѣло простое: я ихъ любилъ. Они были люди добрые и честные, съ опредѣленнымъ взглядомъ на жизнь. Огорчать ихъ мнѣ не нравилось; и во многомъ жизнь моя — человѣка средняго, неяркаго — опредѣлялась ими. Было принято работать, бывать въ симфоническомъ, посѣщать журфиксы въ двухъ-трехъ домахъ — почтенныхъ и серьезныхъ. Я работалъ и посѣщалъ. Принимали и мы по пятницамъ; и молодежь, которую подбирала мать, была тоже интеллигентная и серьезная. Такъ что — странно сказать! — на женитьбу мою мать оказала извѣстное вліяніе.

Съ Анетой мы познакомились на семейномъ торжествѣ, у друзей отца; мать дальновидно пригласила ее къ намъ. Мы встрѣчались на нашихъ собраніяхъ, на публичныхъ лекціяхъ, премьерахъ Художественнаго театра; и эта дѣвушка — горячая брюнетка, крѣпкая, довольно сильная, — заняла мое воображеніе. Она была дочерью профессора; занималась на курсахъ и слыла умницей и милой. Все шло само собой; меньше чѣмъ въ годъ мы оказались женихомъ и невѣстой. Матери наши шептались, радовались; я имѣлъ право въ сумеркахъ цѣловать ее въ шею, я чувствовалъ, что это молодое и жизненное существо владѣетъ мною цѣликомъ.

Такъ я женился — сдѣлался взрослымъ. Анета была отличной женой, это несомнѣнно; она любила меня бурно, со здоровой силой ея возраста, но была тактична и, главное, умна. Я зналъ, что, кромѣ страсти, на каждомъ шагу встрѣчу въ ней помощника, опору, вѣрнаго друга. И я очень ее любилъ. Мнѣ нравился блескъ ея глазъ, нѣжная кожа, нѣсколько по-еврейски вьющіеся волосы. Голосъ у нея былъ низкій и бархатный. Этимъ голосомъ она одинаково хорошо говорила съ кухаркой, торговалась, высказывала просвѣщенные взгляды, порицала модернизмъ и для меня находила въ словахъ ласковые оттѣнки.

Мною она правила превосходно. Въ самомъ дѣлѣ: хотя я не жилъ теперь съ родителями, но въ домѣ у насъ былъ тотъ же порядокъ, культурность и интеллигентность. Мы жили въ небольшой квартирѣ, но съ лифтомъ и ванной; никогда передъ обѣдомъ не пахло чадомъ; не было ссоръ съ прислугой, часто такихъ унизительныхъ. Даже не было гостиной съ декадентской мебелью, не висѣло „Bien être", и только Беклинъ все же былъ: Анета полагала, что для молодого либеральнаго адвоката это вполнѣ умѣстно. И вообще во всемъ: въ одеждѣ, питаніи (Анета была склонна къ вегетаріанству), въ разныхъ мелочахъ чувствовалась рука твердая и знающая, пусть молодая. Мать у насъ бывала нерѣдко. Съ ней Анета тоже ладила; мать ее любила, и даже ея многоопытный взглядъ не улавливалъ въ нашей жизни крупныхъ промаховъ. Иногда, цѣлуя меня на прощанье, мать говорила: „Береги свою жену, Александръ, она у тебя кладъ". Сколько могъ, я и берегъ ее, и по указанію Анеты мы снова ѣздили — то слушать Оленину д'Альгеймъ, то старинную музыку, то даже на лекціи Бердяева (мистицизмъ она не одобряла, но желала быть au courant всего). Она продолжала и курсы, по филологическому отдѣленію; сдавала зачеты, изучала исторію искусства и разъ даже пришла въ ужасъ, когда знакомый студентъ у насъ на четвергѣ сказалъ, что не знаетъ, кто былъ Фра-Анджелико.

Эти четверги, какъ прежде въ родительскомъ домѣ, были обдуманными и „порядочными". Приглашала Анета оставленныхъ при университетѣ, кое-кого изъ моихъ товарищей по работѣ, умныхъ барышень и дамъ. Пили чай за столомъ съ яркимъ никелевымъ самоваромъ, tischläufer'омъ, печеньями. Разговаривали объ общественныхъ новостяхъ; говорили, что „реакція уже обнаруживаетъ свою внутреннюю несостоятельность"; разсказывали о политическихъ процессахъ, касались университета,

спорили о модныхъ романахъ, и въ одиннадцать ужинали à la fourchette, съ двумя бутылками медока. Впрочемъ, я говорилъ мало; никогда я не былъ особенно разговорчивъ, съ гостями держался даже нѣсколько нескладно, за что Анета меня укоряла. „Ты такой умный и образованный человѣкъ, Александръ, но въ обществѣ ты какъ-то прячешься. Нѣкоторые даже думаютъ, что ты гордый. А, между тѣмъ, у насъ бываетъ не кто-нибудь ... Да и вообще я не думаю, чтобы это было вѣрно". И она ласково цѣловала меня. „Что ты, что ты, какая тамъ гордость" ... Я пугался и увѣрялъ, что просто характеръ у меня замкнутый. И, дѣйствительно, никакой гордости во мнѣ не было, это чьи-то выдумки.

Какъ полагается, въ свое время Анета забеременѣла. Мнѣ это нравилось. Сначала она нервничала, нѣсколько разъ плакала и раздражалась; но съ четвертаго мѣсяца стала, наоборотъ, ровной, тихой, какъ-то внутренно довольной. Начала полнѣть, терять дѣвичій обликъ, но появилось и нѣчто новое, по-своему очень хорошее: въ ней показалась молодая матрона, пышное цвѣтеніе женскаго существа. Иногда сіяло въ ея глазахъ нѣчто, не отъ нея зависящее, точно радость самой жизни, выполняющей свою роль. Я боялся за нее послѣдніе мѣсяцы — чтобы не случилось чего; но Анета была еще аккуратнѣй въ своемъ дѣлѣ, чѣмъ я въ моемъ; своевременно она легла въ лѣчебницу и мужественно перенеся страданія, въ февралѣ родила дочь.

Съ ея появленіемъ квартира стала намъ мала. Мы переѣхали на новую, на Пречистенскомъ бульварѣ. Появилась въ домѣ няня, и Лизочка, сама того не вѣдая, еще съ пеленокъ усилила у насъ партію женщинъ и семейный бытъ.

Дочь я полюбилъ — не съ первыхъ дней, а позже, когда стало пробуждаться въ ней сознаніе; когда что-то материнское, смѣшанное съ моимъ, глянуло изъ ея глазъ,

я ощутилъ ту сладкую жуткость, которую чувствуетъ человѣкъ передъ тайной. Я видѣлъ, что и Анета смотритъ на нее особенно, и вѣрно она еще острѣй чуяла въ Лизочкѣ *свое*, оживленную часть *себя*, чѣмъ я.

Но и неуловимое нѣчто легло въ отношеніяхъ жены ко мнѣ; да и моихъ къ ней. Мы точно оба возмужали, выросли; тѣ ноты любви романтической и вздыхательной, которыя все же въ насъ были, какъ-то поблекли. Рѣзче во мнѣ подчеркнулся мужъ, въ ней — жена. Ея власть надо мной возросла — въ области жизненной, практической. И, напротивъ, душевно я сталъ дальше. Росъ заработокъ, и патронъ былъ мною доволенъ; скоро я долженъ былъ стать присяжнымъ повѣреннымъ, самъ прикармливать молодежь.

Но во мнѣ все-таки не было солидности. Иной разъ, вернувшись изъ суда, я вдругъ уходилъ изъ дому, якобы по дѣламъ, а на самомъ дѣлѣ просто бродилъ по Пречистенскому бульвару; выходилъ къ Христу-Спасителю, и зачѣмъ-то сидѣлъ на набережной, смотрѣлъ, какъ блестятъ въ Кремлѣ главы, какъ Москва-рѣка шумитъ подъ Каменнымъ мостомъ. Даже Замоскворѣчье мнѣ нравилось: то-есть не само оно, а теплый вѣтеръ, летѣвшій оттуда, съ юга, голубыя дали, какіе-то воображаемые края тамъ, за Чернымъ моремъ и Крымомъ. Это бродяжничество, глупыя весеннія мечты такъ не шли ко мнѣ, порядочному человѣку въ тридцать лѣтъ, мужу, отцу семейства — я это понималъ и самъ стѣснялся. Но ясно, что во мнѣ, какъ всегда было, съ дѣтства, подъ однимъ человѣкомъ сидѣлъ другой, который мало кому былъ замѣтенъ. Почему я не говорилъ объ этомъ Анетѣ? Вѣдь, я могъ бы найти нужныя слова, и она, вѣрно, поняла бы меня и не посмѣялась. Но я все же не говорилъ. Не то чтобъ я не довѣрялъ, — меня смущала ея спокойная дѣловитость, умъ, то, что всегда, во всемъ права была она. Вѣроятно, и тутъ оказалось бы такъ же.

И когда я возвращался, а она съ двоюродной своей сестрой Машурой, гимназисткой, возилась съ Лизочкой, мнѣ становилось слегка неловко, но я умалчивалъ. „Дядя, — говорила Машура: — нынче Лизочка разговаривала по телефону! Какая смѣшная! Сняла трубку и сказала: „слушаю“. Машура смѣялась, такъ что вздрагивали рѣсницы ея черныхъ глазъ, цѣловала Лизочку. Анета усмѣхалась. „Да, Александръ, она растетъ. Вотъ смотри — скоро и учиться будетъ“. Я тоже улыбался, тоже радовался, и таскалъ на себѣ это милое, маленькое существо. „Кто-то ты будешь, — думалъ я, глядя ей въ глазки. — Славянская дѣвушка, съ туманными мечтами, слабая, изъ нѣжнаго легкоплавкаго воска? Или умная посредственность? Или длинноногая коза, вѣтреница, дѣвица стиль модернъ?“ Лизочка накручивала усъ на пальчикъ и дергала. Иногда разсматривала мнѣ глаза, закрывала и открывала вѣки, какъ-будто хотѣла разобрать получше, что это за инструментъ.

Лѣто того года мы жили на взморьѣ, а осенью — осени въ моей жизни всегда тяжелы — я испыталъ большое горе: умеръ мой отецъ, а черезъ два мѣсяца мать, видимо отъ потрясеній. Я былъ человѣкомъ здоровымъ и довольно крѣпкимъ, но это меня пошатнуло. Вдругъ я почувствовалъ, что навсегда умерло мое дѣтство, юность. Я остался самымъ старшимъ — и уже вполнѣ зрѣлымъ.

Надо сказать, что и въ другомъ отношеніи этотъ годъ былъ годомъ перелома, круто измѣнившаго нашу жизнь. Я разумѣю революцію, которая какъ разъ теперь подошла.

Это было странное время. Что бы потомъ ни говорили, сколько горькаго ни осталось отъ нея, все-таки нѣкоторыхъ моментовъ нельзя забыть: были минуты, когда казалось, что надъ нашей жизнью встало нѣчто огромное, всенародное. Пусть за это расплачивались дорого. Можетъ-быть, жизнь этимъ и красна.

Какъ и всѣ въ нашемъ обществѣ, мы съ Анетой попали въ полосу собраній, банкетовъ, возбужденія и „поддержанія“. Анета — дѣловито и умно, я — менѣе складно и больше въ тѣни. Анета доставала билеты, сажала меня на банкетахъ куда слѣдуетъ, сіяла своими черными умными глазами, покойно, всегда интересно вела разговоръ, и на сторонѣ собирала деньги; устраивала лекціи, вела знакомства въ нѣкоторомъ отношеніи предосудительныя — думаю, ее можно было назвать честнымъ диллетантомъ революціи.

Мой патронъ былъ членомъ крестьянскаго союза. Спустя нѣкоторое время я попалъ туда же, и особеннаго вліянія не имѣлъ, но разсматривался какъ близкій человѣкъ большого человѣка. Раза два засѣданія происходили на моей квартирѣ (и тутъ Анета проявляла тактъ и солидную любезность). До извѣстной степени я самъ увлекался новыми дѣлами: вѣянье свободы, никогда невиданные раньше люди, оттѣнокъ заговора, сладостное нервное напряженіе — все это внесло въ мою жизнь новыя краски — какъ-то приподняло и раздвинуло ее. И въ Анетѣ мнѣ нѣкоторыя черты стали дороже: то, что она всегда рядомъ со мной — такой добрый товарищъ, что она по временамъ такъ прекрасно блеститъ глазами и одушевляется мыслью о народѣ, справедливости, не задумываясь рискуетъ, выполняя какія-то порученія таинственныхъ людей, даетъ имъ пріютъ и поддержку. „Все это хорошо, — думалъ я, — пожалуй, даже очень хорошо“.

— Ну, а если бы тебя арестовали? — спросилъ я разъ, когда она вернулась откуда-то взволнованная, съ тѣмъ острымъ запахомъ молодости и крѣпости, который сильнѣе чувствуется въ минуты возбужденія.

— Я чуть не попалась, ты знаешь? Тамъ была засада, но я вывернулась, сказала, что къ сосѣдямъ.

И, смѣясь, она разсказывала объ избѣгнутой опасности, какъ здоровый охотникъ, сдѣлавшій счастливый выстрѣлъ.

— И сослали бы, что жъ подѣлать ... — Ея взглядъ говорилъ: „Только бы съ тобой!“ Я ее крѣпко поцѣловалъ: ну, я бы ее не бросилъ.

Разумѣется, даромъ намъ это не прошло. Разъ позвалъ меня патронъ и сказалъ: „Плохо дѣло, Александръ Иванычъ. На цугундеръ насъ съ вами. Вотъ вамъ паспортъ, я себѣ уже досталъ — и айда. Лучше Парижъ, чѣмъ тундры сѣвера-съ“. Я не былъ особенно удивленъ, но все же это было неожиданно. „Мѣшкать вамъ не совѣтую, какъ-нибудь проживемъ и въ Парижѣ“. Онъ прибавилъ, что насъ арестуютъ не сегодня-завтра. Я отправился домой, и рѣшили мы съ Анетой такъ, что я провожу ее съ Лизочкой въ Смоленскъ, къ сестрѣ, а самъ, не останавливаясь, махну въ Парижъ. Она же пріѣдетъ черезъ мѣсяцъ — ей почему-то не хотѣлось уѣзжать сразу.

Пятаго апрѣля мы тронулись, съ Брестскаго вокзала. Анета внѣшне была спокойна, но волновалась, я чувствовалъ. На меня тоже нашло раздумье. Поѣздъ шелъ мимо Ваганькова, мимо скачекъ, потомъ медленно пополз къ Кунцеву, среди широкихъ, развернувшихся равнинъ. Въ Москвѣ блестѣли кой-гдѣ стекла, талый снѣгъ синѣлъ по овражкамъ, а надъ Воробьевыми горами голубѣло небо чистое — такое милое и далекое весеннимъ вечеромъ! Я думалъ о томъ, что, вѣдь, это мой городъ и моя страна. Увижу ли я когда-нибудь эти равнины, осинки и березы, полуварварскую Москву, полуварварскій свой народъ? Я, самъ потомокъ скиѳовъ? Но, вѣдь, къ этой странѣ, къ этому народу я приросъ крѣпко; нечего стѣсняться, я люблю его любовью неистребимой, какъ любилъ своихъ стариковъ, чьи кости остались въ этой землѣ. Можетъ-быть, это глупо, но мнѣ захотѣлось вдругъ увезти съ собой горсточку этого бѣднаго суглинка.

Мы проѣхали благополучно. Я сдалъ Анету сестрѣ, а самъ отправился далѣе. Остановился я въ первый разъ въ Кельнѣ, и переночевалъ тамъ, такъ какъ очень усталъ.

Все понравилось мнѣ въ этомъ городѣ: и узкія улицы, и старина, и соборъ, равнаго которому я никогда не видалъ, и ресторанъ съ витражами, гдѣ я пилъ рейнвейнъ, и самъ Рейнъ. Въ старонѣмецкихъ городахъ вспоминаешь охотно Тургенева, Асю, можетъ-быть, Гейне.

Помню, вечеромъ я сидѣлъ у себя на балконѣ. По Рейну бѣжали огоньки — пароходики; подъ гигантскимъ мостомъ онъ гудѣлъ глухо и внушительно. Вода лилась подъ его черные быки, какъ въ вѣчность, и такой же представилась мнѣ наша жизнь, въ частности моя, направленная чьей-то мощной рукой по новому руслу — и неизвѣстно куда мчащаяся. Здѣсь, среди древняго города, въ одиночествѣ, я могъ яснѣе, какъ мнѣ казалось, оцѣнить ее и сказать о ней слово. Было ли хорошо, или плохо, что мое существованіе мѣняется? Я не зналъ. Но одно мнѣ чувствовалось: если бы не пришла революція, новое и жуткое, что было въ ней, я скоро сталъ бы задыхаться въ своей благоустроенной клѣткѣ. Такъ что, можетъ-быть, и хорошо, что въ Парижѣ меня ждетъ безпокойная жизнь, полная тревогъ, неожиданностей, тягостей. Что же, я буду политическимъ эмигрантомъ? Про себя я улыбнулся. Хорошо, я люблю свою страну, ея свободу, но политикъ ли я? Что я: членъ партіи, орудіе центральныхъ комитетовъ, демагогъ? Но, вѣдь, это до смѣшного не такъ. „Что же тамъ будетъ? — думалъ я. — Чѣмъ я буду жить?“ Я такъ ничего и не надумалъ, а той теплой весенней ночью снова бродилъ по Кельну, слушалъ его смутный гулъ, вдыхалъ запахи — смѣсь легкой сигары съ овощами, или свѣжей листвы на бульварахъ, видѣлъ, какъ дробятся звѣзды въ блѣдномъ Рейнѣ и соборъ темнѣетъ.

Такъ, ни до чего не додумавшись, я уѣхалъ на другой день въ Парижъ — къ тому новому, чего никакъ не представлялъ себѣ заранѣе. Парижъ просто казался мнѣ туманнымъ гигантомъ, нѣсколько жуткимъ.

Но жуткаго въ немъ ничего не оказалось. Явилась Анета; подъ ея руководствомъ все сразу приняло нормальное теченіе, только на заграничный манеръ.

Анета устроила насъ въ улицѣ Vavin, близъ Люксембурга. Мы сняли небольшую квартиру, разумѣется, съ каминомъ и часами на немъ, съ огромной кроватью въ спальнѣ, съ жалюзи, узкой винтовой лѣстницей и Альфонсиной, которая смотрѣла на насъ сверху внизъ. Но Анета быстро прибрала ее къ рукамъ, и бытъ нашъ, къ великому удивленію прислуги, да и моему также, принялъ сразу французскій характеръ: за завтракомъ пили плохонькое вино, ѣли овощи и кусочекъ gigot de mouton; во-время обѣдали, ходили въ кафе, не пили даже почти чая, и только иногда земляки приходили и смущали Альфонсину: я же съ ними не сошелся.

Я, вѣдь, оказался въ Парижѣ въ видѣ политическаго изгнанника. Какъ въ Москвѣ нѣкогда у насъ бывали либералы, такъ теперь появились эсъ-эры, эсъ-де и синдикалисты, послѣднее слово революціонной техники.

Такъ какъ я ни къ кому не примкнулъ, то на меня скоро перестали обращать вниманіе и адресовались больше къ Анетѣ: я просто недалекій мужъ, съ которымъ нечего церемониться. Да они были и правы: вѣрно — меня мало занимали ихъ партійныя распри. Дастъ ли Богъ побѣду меньшевикамъ, большевикамъ или отзовистамъ, меня мало интересовало. Я слѣдилъ за Россіей, болѣлъ за бѣдный свой народъ, бѣдную страну, о которой судили здѣсь вкривь и вкось, съ преувеличеніями, ходульными словами, часто свысока и рѣдко съ любовью — и свое положеніе оцѣнивалъ такъ: родину я не предамъ нигдѣ, ни подъ какимъ небомъ не забуду я русскихъ полей, перелѣсковъ, Москвы, взгляда русской женщины. Но, вѣдь, надо сознаться, что здѣсь я только потерпѣвшій аварію, и сколько ни тоскуй, я не внесу свѣта и радости въ свой далекій край. Можетъ-быть, меня захватило

уныніе, всегда слѣдующее за неудачами, можетъ-быть, во мнѣ никогда не было борца — я не знаю, но чувствовалъ я такъ. Разумѣется, жизнь сдѣлала въ Россіи послѣдняго времени большой сдвигъ, и эта же жизнь, по законамъ ей даннымъ, проведетъ нашу страну туда, куда нужно исторіи. Но ни я, ни тѣ маленькіе люди, которыхъ я видѣлъ теперь, ничего не увидятъ и ничего не сдѣлаютъ. Ихъ горсть, они отъ всего отрѣзаны, въ большинствѣ недаровиты; лучшіе изъ нихъ несчастны, худшіе ничтожны. Тяжела ихъ судьба.

Между тѣмъ, мой патронъ и здѣсь поставилъ свою работу на твердую почву. Мы открыли въ Парижѣ бюро, какъ бы консультаціонно-адвокатское, и дѣла наши пошли недурно. Кліенты у насъ были и изъ русскихъ, и французы. Всѣхъ мы обслуживали по возможности тщательно; работать приходилось довольно. Но все-таки у меня было время, и интересъ былъ къ Парижу, къ чужой жизни.

Какъ и многимъ — Парижъ показался мнѣ лучше его обитателей. Есть величіе въ этомъ сухощавомъ, трудовомъ и очень мужественномъ городѣ. Онъ — для людей крѣпкихъ и немечтательныхъ, но онъ имѣетъ свое, ни на что непохожее. Есть въ немъ площади мірового значенія, есть мѣста, гдѣ можно чувствовать Революцію, Наполеона; есть священныя мансарды — кельи Руссо и Бальзаковъ.

Весь же складъ и духъ жизни тутъ суровѣе, пустѣе, чѣмъ у насъ. Здѣсь абсолютно всѣ знаютъ, чего хотятъ — хотятъ осуществимаго и средняго, и добиваются его, при трудѣ и усердіи. Власть, деньги, наслажденія опредѣляютъ здѣшнюю жизнь съ черствостью, которой не знаемъ мы. Потому мы тутъ всегда въ загонѣ и всегда побѣжденные. Потому, съ другой стороны, намъ дышать здѣсь не легко. Чтобы быть принятымъ геніемъ здѣшней жизни, надо съ молодыхъ лѣтъ назначить себѣ размѣръ ренты, которую хочешь получать къ старости: и на этомъ построить бытіе.

У меня было такое чувство, что и политики, и ученые, и рабочіе, и купцы — всѣ живутъ такъ. Не такова, конечно, русская эмиграція, но въ ней все же мало интереснаго и много горькаго. Такъ что ни тѣ, ни другіе не могутъ дать образца жизни. А между тѣмъ, мнѣ, надѣявшемуся, что новое пахнѣтъ освѣжающе, тяжело было видѣть, что все и вокругъ, да и у насъ какъ-то ниже уровня послѣднихъ мѣсяцевъ въ Россіи. При этомъ меня удивляла Анета. Какъ нравилось ей въ Россіи маршировать въ ногу съ революціей, такъ тутъ она легко вошла въ эту чужую жизнь — гдѣ тоже, конечно, были страшныя слова, синдикалисты и эсъ-эры, но уже все совершенно безопасное, безвредное и прѣсное. Здѣсь не было воодушевленія. Да мнѣ казалось, что и не къ этому, въ концѣ-концовъ, лежитъ ея сердце, — а къ вліянію, къ желанію имѣть въ хорошей квартирѣ хорошее (съ именами) общество радикальной окраски. Это, вѣдь, тоже цѣль, тоже такая достижимая цѣль! И мнѣ почему-то стало представляться, что хорошо бы Анетѣ быть замужемъ не за мною, а за какимъ-нибудь пріятнымъ французомъ демократическаго толка, который бы служилъ въ министерствѣ общественныхъ работъ и надѣялся подъ старость получить директора департамента. Но все это — непремѣнно съ хорошими словами и пользой для народа. Я увѣренъ, что Анета была бы ему отличной помощницей. Она устроила бы салонъ разъ въ десять шикарнѣе нашего.

Такимъ образомъ, чѣмъ дальше шла наша жизнь, тѣмъ менѣе она мнѣ нравилась. И къ концу года, проведеннаго въ Парижѣ, я сталъ замѣчать въ себѣ мысли, раньше не приходившія мнѣ. Я сталъ задумываться надъ тѣмъ, что всегда безпокоило людей и будетъ вѣчно ихъ безпокоить: такъ ли я жилъ и живу, какъ надо, а если не такъ, то какъ именно долженъ жить.

Мои разсужденія приблизительно таковы: я уже въ зрѣломъ возрастѣ, я мужъ, отецъ, членъ общества. Но

что собственно я сдѣлалъ? Я любилъ, когда былъ молодъ, это во мнѣ естественное дѣйствіе силъ природы; у меня есть дочь, результатъ дѣйствія этихъ силъ. Есть дѣло, которое я дѣлаю потому, что среди людей моего общества считалось приличнымъ, чтобы я выбралъ интеллигентный и либеральный видъ труда. Но, вѣдь, я его не люблю, надо сознаться. Неужели свою жизнь, половина которой уже прошла, я употреблю на добываніе денегъ, комфорта, извѣстности, что ли? Неужели послѣ rue Vavin будетъ rive droite, „приличная“ жизнь, двуспальныя постели, хорошее вино, дородность . . . изъ-за чего же тогда стоило хлопотать?

Не скрою, что мнѣ хотѣлось чего-то большаго, высокаго — быть-можетъ, творчества, или служенія цѣнностямъ, какъ говорятъ люди умные, стоящимъ надъ жизнью. Но я не имѣлъ никакого Божьяго дара, могъ только завидовать (единственно, кому я завидовалъ въ Парижѣ) тѣмъ мансарднымъ художникамъ, философамъ, писателямъ, которые тоже знаютъ свой путь, но путь которыхъ — безконеченъ, и тѣ, кто идетъ по немъ, подобны крестоносцамъ.

Помню, что случайно, размышляя въ этомъ настроеніи, я раскрылъ старенькое Евангеліе, сохранившееся у меня съ дѣтскихъ лѣтъ, и прочелъ: „Ибо я пришелъ раздѣлить человѣка съ отцомъ его, и дочь съ матерью ея, и невѣстку со свекровью ея. И враги человѣку домашніе его“. Эти слова поразили меня. Мнѣ показалось, что они направлены прямо противъ Анеты и Лизочки. И хотя я зналъ ихъ глубокую правдивость вообще, въ примѣненіи къ данному они показались мнѣ чрезмѣрно суровыми. „Чѣмъ же Лизочка-то виновата“, думалъ я, глядя, какъ она, подросшая и слегка офранцуженная, скачетъ въ Люксембургскомъ саду, ловитъ diabolo, играетъ въ мячъ. „Вся тяжесть лежитъ на насъ съ Анетой, а она просто милое дитя, птичка“. И я бралъ ее подъ мышки, щекоталъ, подымалъ вверхъ, на забаву ея французскимъ друзьямъ. Потомъ мы ходили къ фонтану кормить рыбокъ. Рыбки,

такія жъ маленькія, какъ она сама, сбивались къ намъ кучей, а она бросала имъ корочки, бормотала: „tiens, les poissons qui mangent“. Иногда мы садились на верхушку омнибуса у Одеона и ѣздили кататься по Парижу. Лизочка прижималась ко мнѣ, точно жутко ей было среди этихъ тысячъ людей, фіакровъ, автобусовъ, мчавшихся во всѣ стороны — но и занятно движеніе необычайнаго города. На rive droite я покупалъ ей конфеты — такъ ужъ это было заведено — и назадъ мы катили по метро — тоже нѣчто, заставлявшее Лизочку обмирать. Но когда пролетали надъ Сеной, она восторженно всматривалась въ Эйфелеву башню: тамъ я почувствовалъ, до какой степени въ духѣ дѣтей эта башня.

Между тѣмъ, Анета, какъ мнѣ казалось, стала замѣчать, что не все ладно въ нашей жизни, т.-е. вѣрнѣе — въ моей. Нѣсколько разъ даже спрашивала она: „что съ тобой, Александръ?“ Я не очень былъ расположенъ говорить, да и тѣмъ положеніе мое было неудобно, что я не умѣлъ выразить въ точной формѣ предмета своего недовольства. Анета же любила точность. Въ концѣ одного нашего разговора она вдругъ вспыхнула и сказала: „ну, да, понимаю... ты просто разлюбилъ меня“. Это было невѣрно, нескладно, и по-женски, но разъ она додумалась до такой вещи, сбить ее почти нельзя было. Тутъ я почувствовалъ, что намъ нанесенъ сильный ударъ. „Я понимаю, — говорила Анета, и глаза ея блестѣли по-новому, какъ-то холодно, чуждо, — тебѣ просто со мной не интересно, потому ты уходишь куда-то, потому ты измѣнился“. Я старался ее разубѣдить, но она замыкалась, твердила: „оставь“ — съ такимъ видомъ, что вся моя энергія падала. Разъ, вернувшись откуда-то, я засталъ ее лежащей на диванѣ, головой въ подушку. Я присѣлъ къ ней и хотѣлъ поцѣловать въ шею, какъ дѣлалъ нѣкогда женихомъ, но она вскочила — глаза ея были заплаканы и прекрасны, — молнія блеснула въ нихъ; она крикнула:

— Уйди! Все пропало! Я тебя тоже не люблю. Все пропало, все, все!

Она пробѣжала къ себѣ въ комнату и заперлась. Вечеромъ прислала мнѣ письмо, гдѣ было больше печали и чувства, чѣмъ я склоненъ былъ ожидать. Она писала, что давно уже, почти со времени рожденія Лизочки, стала замѣчать во мнѣ перемѣну, — очевидно она прискучила и не можетъ дать той жизни, которая мнѣ нужна. Въ виду этого она предоставляетъ мнѣ свободу дѣйствій, и *если я, быть-можетъ, кого-нибудь люблю*, чтобы я сказалъ прямо: мы разойдемся. Ночь мы оба почти не спали. А на утро было объясненіе, убѣдившее Анету, что я никого кромѣ нея не люблю и не любилъ. Но полнаго мира оно не дало, ибо остались у насъ какіе-то рифы, темные и опасные пункты, къ которымъ оба мы не рѣшались приблизиться.

Началась жизнь, которая была, конечно, хуже прежней, такъ какъ ушло изъ нея всякое тепло и ласка. Анета видимо тяготилась домомъ и искала случая уйти куда-нибудь, и какъ можно на дольше. Появилось у насъ нѣкоторое запустѣніе, чего раньше не было. Анета не интересовалась даже Лизочкой, и та приходила дѣлиться школьными радостями ко мнѣ: за диктовку она получила четыре, а за „держаніе“ — такъ она называла поведеніе — пять.

— Отчего нѣтъ мамы? — спрашивала она.

— Мама въ русской колоніи. Тамъ сегодня вечеръ.

— А ты почему не въ русской колоніи?

Я не могъ объяснить ей, что дѣло не въ русской колоніи, а что мама тоскуетъ, да и отецъ тоже. И, уложивъ ее спать, я садился и ждалъ Анету.

Снова и снова задавалъ я себѣ вопросъ: что же, какъ же? Устраивается ли моя жизнь, или разрушается? Что она начала разрушаться — это я видѣлъ на каждомъ шагу. Что выйдетъ изъ этого — не могъ предвидѣть, и помню, что меня тянуло въ такіе вечера къ Евангелію. О, какая

это странная книга! Я никогда не былъ мистикомъ, а Евангеліе цѣнилъ какъ-то холодновато: можетъ-быть, оно слишкомъ было затемнено еще со школьныхъ временъ. Но теперь, когда я перечитывалъ давно забытыя, удивительныя слова, мнѣ вдругъ стало казаться, что это, правда, сверхъестественное писаніе. Я читалъ когда-то діалоги Платона, и Сократъ, къ которому душа моя никогда особенно не лежала, былъ мнѣ весь виденъ, весь ясенъ, какъ и его ученикъ; ясны были и величайшіе поэты — Гете, Данте. Кто же собственно Христосъ? Этого я не вмѣщалъ. Я только чувствовалъ, что сердце мое открывается необычайному сіянію Евангелія — вѣроятно, вѣчному сіянію — покорявшему милліоны — быть-можетъ, именно тогда, когда начинали они терять истинный жизненный путь. Ибо за всѣмъ грохотомъ культуръ, войнъ, переворотовъ и цивилизацій есть еще малая вещь — человѣческое сердце, которое ищетъ незыблемаго всегда, сколько бы ни опьяняли его успѣхи и движеніе жизни. Такой вѣчно-живой водой представлялось мнѣ Евангеліе. Если оно не указывало точнаго пути (или я не умѣлъ опредѣлить его), то, во всякомъ случаѣ, подымало и возвышало необыкновенно. И утѣшало.

Возвращалась Анета, цѣловала меня на ночь и уходила къ себѣ. Я зналъ, что ночами она плохо спитъ. Видимо, тяжелыя чувства мучили ее часто; и помочь ей было трудно. Иногда она глядѣла на меня, разговаривала будто и ласково, но думая о другомъ, и помню, разъ среди пустого разговора вдругъ болѣзненно сморщилась и сказала:

— Ты самъ это началъ. Ты, ты. Я всегда была тебѣ вѣрной женой. — И расплакалась.

Тогда я сталъ догадываться кой о чемъ такомъ, чего раньше не подозрѣвалъ.

Именно, я замѣтилъ, что Анета исчезаетъ слишкомъ часто. Странно, почему она пристрастилась къ русской

библіотекѣ, которую раньше не любила, и почему пересталъ бывать у насъ Берто, французъ, синдикалистъ, съ великолѣпной бородой, какъ у Жореса.

Я началъ наблюдать съ этой новой позиціи и скоро убѣдился, что, дѣйствительно, это такъ. Несомнѣнно, у Анеты, быть-можетъ, подъ вліяніемъ оскорбленнаго самолюбія, завязался романъ. Какъ я отнесся къ этому? Вотъ вопросъ! Конечно, я самъ способствовалъ его возникновенію; вѣрно и то, что во многомъ я относился къ Анетѣ критически и, пожалуй, иронически. И все-таки мнѣ было тяжело. Какою бы она ни была и какимъ бы я ни былъ, все же въ прошломъ у насъ любовь, годы прожитые вмѣстѣ и та неопредѣленная, темная симпатія, которую скрѣпляютъ тысячи мелочей, вмѣстѣ пережитыхъ.

Была весна — парижская весна съ цвѣтами, элегантностью, остротой. Прянѣй запахъ сигаръ на улицѣ, возбужденнѣй толпа, блѣдно голубѣетъ небо надъ Люксембургскимъ садомъ и легкія стада дѣтей чище и изящнѣе. Этой весной я, какъ и Анета, уходилъ изъ дому часто и надолго. Работалъ мало, слонялся по кафе, бульварамъ — безцѣльно.

Помню, разъ игралъ въ Café de la Régence въ шахматы со старичкомъ-французомъ, однимъ изъ случайныхъ знакомыхъ, которые вдругъ появляются и исчезаютъ въ великомъ одиночествѣ столицъ. Въ двѣнадцать мы кончили, выпили кофе и пошли бродить. Добрались до fortifications и вступили въ Булонскій лѣсъ. Здѣсь звѣзды стали виднѣе, и та сутолока и вѣчный гулъ, что заливаютъ въ Парижѣ, остались сзади. Было очень тихо. Надъ городомъ голубѣло зарево; лебеди дремали на прудахъ, и въ одномъ изъ нихъ отражались огни ресторана: онъ сіялъ электричествомъ въ глубокой мглѣ парка. Мой спутникъ вздохнулъ.

— Этотъ лѣсъ вырубили пруссаки. Во время осады. Видите, осталось очень мало старыхъ деревьевъ. Это

было давно, — я тогда былъ молодымъ. — И онъ разсказывалъ мнѣ, какъ былъ молодъ, защищалъ Парижъ, сталъ коммунаромъ и едва не погибъ. „Насъ всѣхъ перебили и разогнали, но я вспоминаю о томъ времени радостно, да, я вамъ скажу, радостно. Потому что тогда я очень любилъ Францію, Парижъ — это несомнѣнно. И я проливалъ за нихъ кровь". Онъ похлопалъ себя по рукѣ, куда былъ раненъ. „А теперь я бульвардье, я тоже люблю свой Парижъ, но теперь умерли уже всѣ мои товарищи, и я самъ — ветеранъ прежнихъ временъ; да, это такъ".

Онъ говорилъ, что не примирился и не примирится съ обществомъ сытыхъ и сильныхъ, предпочитаетъ вести жизнь полунищенскую, но быть свободнымъ. „Лѣтомъ я ухожу иногда странствовать. — Я родомъ изъ Прованса, и когда въ конторѣ мнѣ даютъ отпускъ, я ухожу бродить по югу. Я ѣду въ четвертомъ классѣ, а тамъ иду пѣшкомъ. Это даетъ радость моей жизни". Я взглянулъ на его сухощавую, крѣпкую фигуру, и мнѣ показалось, что этотъ человѣкъ несетъ въ себѣ, правда, вызовъ всей прочной и налаженной жизни, которая здѣсь течетъ. „Отправимтесь однажды со мной. Я буду вамъ проводникомъ, и притомъ — онъ улыбнулся и взглянулъ на меня, — мнѣ кажется, хотя я и знаю васъ мало, что вы изъ нашихъ". Я насторожился. — „Изъ какихъ же это?" — Онъ слегка присвистнулъ: „Изъ vagabonds, странниковъ". Выпилъ ли онъ больше нормы, или весна возбудила его, но онъ говорилъ много, иногда любопытно, и главное, какъ мнѣ казалось, вѣрно меня понялъ. Мы бродили долго, видѣли, какъ пронесся запоздалый поѣздъ кольцевой дороги, встрѣчали одинокіе автомобили, и когда возвращались, звѣзды гасли, и надъ трудовымъ Парижемъ блѣднѣла заря. Мы рѣшили вмѣстѣ путешествовать пѣшкомъ по югу, если не этимъ лѣтомъ, то слѣдующимъ. Все это было довольно удивительно и,

быть-можетъ, нелѣпо, но я ясно знаю, что та ночь сыграла въ моей жизни извѣстную роль.

Ближайшимъ лѣтомъ мы не выполнили плана: мы съ Анетой, какъ всегда, уѣзжали на океанъ. Это должно было произойти въ іюнѣ, а въ маѣ пріѣхала Машура съ мужемъ, московскимъ доцентомъ. Она чуть располнѣла, стала крѣпче и имѣла видъ женщины. Мнѣ она напомнила перемѣну, какая произошла съ Анетой послѣ замужества. Даже тотъ тонъ появился, — какъ бы все знающій и солидный. Но все же она была очень мила, черные глаза ея были такъ же огромны и прекрасны. Часто онѣ запирались съ Анетой, и пока доцентъ сидѣлъ въ библіотекѣ, вели разговоры — я догадывался о чемъ. Иногда мы гуляли вмѣстѣ по Парижу, я показывалъ ей кое-что, и чувствовалъ, что однажды у насъ произойдетъ разговоръ. Я не ошибся. Это случилось въ Луврѣ, когда послѣ долгихъ скитаній мы сѣли на диванчикъ въ какой-то пустынной залѣ. Машура начала съ того, что она давно чувствуетъ, что между нами неладно. Я согласился. „Ты долженъ простить Анету“. Вѣки ея задрожали. Мнѣ показалось, что сейчасъ она заплачетъ. „Позволь, за что прощать?“ Тогда, путаясь, она стала объяснять то, что я уже зналъ, т.-е. о синдикалистѣ, — доказывая, что это пустякъ, увлеченіе въ пику мнѣ, что, можетъ-быть, я и самъ виноватъ больше, чѣмъ думаю, что я забросилъ Анету, и пр.

Я смотрѣлъ въ ея милое лицо; я понималъ, что мы говоримъ о разномъ, и врядъ ли поймемъ другъ друга, и думалъ, что вѣрно и этимъ чернымъ глазамъ придется пережить подобное. „Отчего ты не хочешь подойти ближе, согрѣть ее? Развѣ ты не видишь, какъ она страдаетъ? Вѣдь, я не узнала васъ обоихъ! — Она вздохнула. — Ахъ, думала ли я, когда вы уѣзжали изъ Москвы, что такъ все будетъ?“ — „Милая Машура, Я самъ тогда ничего не думалъ и мало что зналъ.

Но ты ошибаешься, полагая, что виноватъ синдикалистъ". Я чуть не сказалъ ей, что я наканунѣ полной ломки своей жизни, что Анета и семья — лишь часть этой перемѣны, и что мое изгнаніе изъ общества и жизни, которую я до сихъ поръ велъ — не ограничено изгнаніемъ изъ Россіи, а пойдетъ дальше, что прахъ и суета достаточно уже владѣли мною. Но я все-таки этого не сказалъ. Можетъ-быть, оттого, что это было еще слишкомъ хрупкой моей мыслью, я не могъ бы точно отвѣтить, что именно собираюсь сдѣлать: но что нельзя жить попрежнему, — было ясно.

Итакъ, разговоръ не пришелъ ни къ чему. Все осталось по старому, такъ же неясно и запутано; но теперь и Машура оказалась втянутой въ нашу исторію. Возможно — потому она и измѣнила намѣреніе ѣхать съ мужемъ въ Россію, а рѣшила жить съ нами у океана.

Не долженъ ли я сказать, что изъ всѣхъ періодовъ моей жизни эти два мѣсяца въ Сулакѣ были самыми странными? Должно быть — такъ. Они были мѣсяцами прощанія, перелома. Когда жизненная полоса изжита, начинается другая — человѣку и радостно, и горько. Онъ приподнятъ, въ туманѣ, и нѣсколько экзальтированъ. Кажется, что сейчасъ онъ сдѣлаетъ удивительный шагъ, но и въ прежнемъ есть вещи, съ которыми тяжело разставаться.

Я помню нашу сѣрую дачу, зеленыя волны океана — такія широкія, покойныя волны, отражавшія вѣчность, — и упругій вѣтеръ. Нигдѣ нѣтъ такого вѣтра! Помню лѣтнія платья Анеты, Машуры, Машурины глаза, ставшіе еще темнѣе и печальнѣе, Лизочку на морскомъ берегу, даже синдикалиста въ бѣлыхъ штанахъ — все это сохранилось въ моей памяти. Одинокія прогулки далеко за Сулакъ, по берегу, тамъ можно было часами дремать на пескѣ, слушая океанъ, глядя, какъ бѣгутъ безбрежныя облака. Тамъ я испыталъ то удаленіе отъ людей и жизни,

какъ бы возвращеніе къ первоистоку, которое, вѣроятно, знали пустынники и основатели монастырей. Здѣсь не чувствовалъ я, что я адвокатъ, членъ общества и человѣкъ, одѣтый соотвѣтственно модѣ; пользуясь словами святого Франциска, я могъ бы сказать: мой братъ — океанъ, милыя мои сестры — облака, травы, водоросли. Здѣсь я такъ же былъ нагъ и душевно простъ, какъ дѣти, рыбы, бабочки.

Иногда я читалъ вслухъ Евангеліе. Какъ подходитъ эта книга къ безлюдному океану, къ солнцу, жегшему мнѣ спину! Напримѣръ, сказано, что когда Христосъ проходилъ близъ моря Галилейскаго, то увидѣлъ двухъ братьевъ; они закидывали сѣти — быть-можетъ, какъ вонъ тѣ рыбаки, что тянутъ канатъ. Онъ сказалъ: „идите за Мною, Я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ“. Они оставили сѣти, жизнь, промыселъ, друзей и ближнихъ и навсегда ушли съ Нимъ. Какъ просто и какъ удивительно! Увидѣли, услышали — и *ушли*. А Іоаннъ и Іаковъ, съ отцомъ ихъ Зеведеемъ, *починяли* сѣти и тоже на Его зовъ ушли. Что это были за люди? Какъ они чувствовали? Этого я раньше никогда не понималъ. Но теперь мнѣ, малому человѣку, которому неловко даже говорить о себѣ, мнѣ казалось, что если бы я услышалъ такой голосъ, то — почемъ знать? — можетъ, и я бы ушелъ, позабывъ о патронѣ, Парижѣ, Анетѣ, Лизочкѣ. Но ко мнѣ никто не приходилъ, и я опредѣленно не зналъ, во имя чего ухожу. Потому что не былъ ни соціалистомъ, ни анархистомъ, ни христіаниномъ, и только жаждалъ быть чѣмъ-то.

Что же касается Анеты, то Машурины надежды не оправдались: видимо, привязанность ея къ синдикалисту крѣпла. Я этому не удивлялся: человѣку, а особенно женщинѣ, жить не прилѣпившись трудно, и когда началось мое удаленіе изъ ея сердца, оно должно было отдаться другому. Встрѣчая ее въ своемъ домѣ, за столомъ, иногда

на пляжѣ, у кабинокъ, съ Лизочкой, я смотрѣлъ на нее какъ на добрую знакомую, съ которой нѣкогда былъ очень близокъ. Только минутами просыпалось былое, она напоминала мнѣ Москву, мою первую, все же яркую и искреннюю любовь, стариковъ, благословлявшихъ нашъ бракъ — тогда я старался уйти подальше, къ холмамъ, откуда были видны дюны и далекіе паруса рыбацкихъ лодокъ.

Однажды — это было въ концѣ іюля, — я ужиналъ вечеромъ въ ресторанѣ, одинъ, довольно поздно. Потомъ ушелъ гулять; и у меня было такое чувство, будто я не скоро вернусь. Да и дома въ этотъ день все имѣло какой-то странный видъ: Анета была возбужденнѣй, что-то хлопотала, перекладывала наспѣхъ вещи — вообще атмосфера явно ненормальная.

Какъ всегда, я шелъ берегомъ моря. Выдалась рѣдкая ночь: такъ было тихо. Закатъ угасъ уже, звѣзды вышли своими легіонами смѣло, и казалось, имъ какъ-то радостнѣй сіять надъ такимъ тихимъ воднымъ зеркаломъ. Я шелъ не мало, до одного своего любимаго мѣста: огромнаго камня, такъ заросшаго мохомъ, что на немъ можно было лежать какъ въ постели. Я такъ и сдѣлалъ. Рядомъ со мной былъ мой океанъ, чуть шипѣвшій по песку; можетъ-быть, лишь мое ухо и слышало, какъ лопались его пузырьки. Думалъ я о жизни, океанѣ и Евангеліи, которое читалъ сегодня утромъ. Мой взоръ останавливался на медузѣ, принесенной къ берегу, видной при свѣтѣ звѣздъ; иногда любовался свѣченіемъ, лѣтней флуоресценціей воды. Незамѣтно я заснулъ. Сколько спалъ, не знаю, но проснулся внезапно — и сѣлъ: мнѣ казалось, что кто-то есть рядомъ. Взглянувъ направо, увидѣлъ я свѣтлую фигуру, задумчиво двигавшуюся по берегу; что это было, я не могъ понять. Призракъ, галлюцинація? Потомъ такъ же медленно незнакомый сталъ удаляться, — прямо по поверхности океана, съ тѣмъ же задумчиво покой-

нымъ видомъ. Помню, мнѣ не было страшно, и я не задалъ себѣ даже вопроса, кто это? зачѣмъ? почему? Занимался разсвѣтъ, тонкій паръ дымился надъ водой, и далеко, сквозь его легкую пелену, виднѣлся зеленый огонь пассажирскаго парохода. Я всталъ и отправился домой. Мнѣ хотѣлось пѣть какой-то псаломъ, или божественный стихъ — читать вслухъ строки Евангелія.

У балкона меня встрѣтила Машура. По ея виду я понялъ, что случилось нѣчто особенное. Я угадалъ. Запинаясь и волнуясь сообщила она мнѣ, что этой ночью уѣхала Анета съ Лизочкой.

Конечно, такъ это и должно было быть. Въ короткой запискѣ она писала, что не можетъ больше выносить такой жизни, любитъ Берто и ко мнѣ не вернется. Надѣется, что Лизочка не станетъ предметомъ раздоровъ; жить она будетъ у нея, но если захочу, я въ любое время могу видѣть дочь. Прилагался адресъ: Парижъ и т. д.

Разумѣется, мнѣ не было весело. Особенно жаль стало Лизочку, т.-е. жаль, что ея нѣтъ со мной, и не будетъ. Будетъ ли она помнить обо мнѣ, или забудетъ черезъ нѣсколько дней, и совсѣмъ офранцузится въ рукахъ г. Берто? Вѣрнѣе — послѣднее. Слишкомъ она еще веселая звѣрушка, живущая мгновеньемъ. А можетъ-быть, даже хорошо, что она именно такая. Несомнѣнно, жить ей будетъ легче.

Къ вечеру, несмотря на старанія Машуры, меня охватила тоска. Я старался бороться; внушать себѣ, что нельзя же малодушничать съ первыхъ шаговъ. Это не помогало — и въ результатѣ я рѣшилъ уѣхать съ этого океана: все здѣсь стало для меня чужимъ, ненужнымъ. Я распрощался съ Машурой, тронувшейся въ Россію, и переселился въ Парижъ.

Не стану описывать послѣднихъ мѣсяцевъ этого лѣта и зимы, проведенной въ Парижѣ въ одиночествѣ. Скажу

только, что этотъ странный городъ далъ мнѣ гораздо больше крѣпости и душевныхъ силъ, чѣмъ я предполагалъ, и то время я прожилъ въ иномъ самочувствіи, чѣмъ раньше. До весны я работалъ еще у патрона, но уже зналъ, что это дѣло — конченое: меня занимало другое. Я снова читалъ Евангеліе; затѣмъ мнѣ удалось достать книги по сектантству и расколу въ Россіи, и вмѣстѣ съ ростимъ чувствомъ ко Христу я сталъ раздумывать о томъ, какъ направить свою жизнь туда, куда хотѣлось бы. Несомнѣнно — живи я лѣтъ пятьсотъ назадъ, я бы ушелъ въ монастырь. Но сейчасъ въ монастырь не хотѣлось, и вообще я не зналъ, какъ быть. Думалъ и о духоборахъ, о томъ, не уѣхать ли въ Америку, или пробраться на Кавказъ къ молоканамъ. Это было осуществимѣе, хотя Америка пугала: никогда я ее не любилъ. Во всякомъ случаѣ, лѣтомъ мы со старымъ французомъ должны были путешествовать по югу, и уже потомъ дѣйствовать.

Знаю одно: эту зиму я жилъ тверже, достойнѣе, хотя часто меня посѣщали сомнѣнія. Они состояли въ томъ, что все-таки я не настоящій христіанинъ, и вообще у меня нѣтъ незыблемыхъ вѣрованій, служенію которымъ я посвятилъ бы жизнь. Я разсуждалъ: хорошо, сейчасъ тебѣ кажется, что жизнь въ міру плоха и тяжела. Но ты можешь полюбить, встрѣтить подругу, которая дастъ тебѣ больше, чѣмъ Анета. Устанешь къ извѣстному возрасту, будешь страдать отъ бѣдности, которая теперь предстоитъ. Да и мало ли что вообще можетъ произойти? Что будетъ, если захочешь вернуться, но уже тщетно?

Всѣ эти размышленія правильны, и всѣ они — отголоски прежней жизни и прежняго человѣка во мнѣ. Въ концѣ я рѣшилъ такъ: пусть, что будетъ, то будетъ. Въ маѣ я отказываюсь у патрона, мы ѣдемъ въ Провансъ и Италію, а оттуда я — въ Россію. Пускай меня арестуютъ и сажаютъ въ тюрьму, я отбуду наказанье и поступлю туда, куда склонится мое сердце; въ сектанты ли, въ анархисты,

или просто въ незамѣтные одинокіе люди, великое преимущество которыхъ: свобода отъ *всѣхъ* и отъ *всего*.

Такъ оно и вышло. Передъ отъѣздомъ я зашелъ къ Анетѣ. Меня встрѣтила красивая дама французскаго вида — и въ первый моментъ будто не узнала меня. Потомъ въ лицѣ у ней что-то дрогнуло, но она быстро овладѣла собой, и мы разговаривали какъ добрые знакомые; она, глядя на меня и разспрашивая о планахъ, видъ имѣла серьезный и соболѣзнующій: видимо, я казался слегка „тронутымъ“. Я же улыбался. Мнѣ казалось, что съ этимъ синдикалистомъ Анета обрѣла, наконецъ, себя, и дальнѣйшая ея жизнь представлялась такой ясной, прочной и пріятной. О, несомнѣнно, и квартира, и порядокъ здѣсь безконечно выше, чѣмъ у насъ — впереди всему этому предстоитъ еще расти. Анета будетъ вѣрной женой, хозяйкой, синдикалисткой и доброй матерью; хотя возможно — синдикалистскаго ребенка сейчасъ у ней и не будетъ. Онъ появится года черезъ три, когда позволятъ обстоятельства.

Теперь всѣ мои дѣла, все, что привязывало къ старой жизни, было кончено. Скоро пепелище мое зарастетъ новой травой, новые люди будутъ окружать мою дочь и изгладятъ воспоминаніе о какомъ-то отцѣ, русскомъ. Во всемъ своя сила, свой законъ.

Когда черезъ два дня мы выѣзжали утромъ изъ Парижа, было солнечно, блистательная весна. За городомъ развернулись поля, тонувшія въ свѣтѣ, и въ окно пахнуло вѣтромъ, ширью; я смотрѣлъ на болтавшихъ въ нашемъ отдѣленіи солдатъ и торговокъ, на этотъ веселый и крѣпкій простой народъ, который теперь будетъ мнѣ ближе, — чувство простора и радости наполнило меня. Точно міръ раздвинулся и я вдохнулъ его истинный ароматъ. Стараясь сдѣлать это незамѣтно, я открылъ маленькое Евангеліе на одномъ изъ любимыхъ мѣстъ: „Ибо тѣсны врата и узокъ путь, ведущіе въ жизнь, и немногіе нахо-

дятъ его“. Нашелъ ли его я? Этого я не могъ сказать, но мнѣ кажется, что, во всякомъ случаѣ, я поступилъ правильно, предпринявъ свой исходъ — сколь бы онъ ни казался страннымъ и нелѣпымъ Анетѣ, патрону и другимъ. Что же будетъ дальше — увидимъ; что Богъ пошлетъ.

ВЕЧЕРНІЙ ЧАСЪ

Со Спеціи я начала волноваться — оставалось два часа до Сестри.

Мы мчались во тьмѣ и духотѣ туннелей. На минуту холодноватымъ блескомъ сверкало море — и снова грохотъ въ горныхъ нѣдрахъ, задымленныя стекла, электричество.

На полустанкѣ я опустила окно и высунулась. Въ ущельѣ лежалъ итальянскій городокъ, съ кампаниллой, черепичными крышами домовъ. Слѣва хлестало море; справа горы тѣснили, голыя, сѣрыя. Темное облако клубилось на вершинѣ.

Мнѣ стало жутко. Вотъ я пріѣду въ глушь, и куда я дѣнусь вечеромъ, когда начнетъ завывать вѣтеръ, море разгудится?

Я вздохнула, откинулась и прислонилась къ углу купэ. Поѣздъ тронулся. Я закрыла глаза, и вмѣсто безпокоящемящаго чувства вдругъ ощутила великую тишину, покой. Не все ли равно, гдѣ жить и какъ жить? Конечно, прочно устроиться я нигдѣ не могу. Съ нѣкоторыхъ поръ мое существованіе приняло бездомный характеръ.

Передо мной потянулись было видѣнія прошлаго, — распря съ мужемъ, борьба за Борю, котораго мужъ сумѣлъ отвоевать; но это не доставило той острой боли, какъ прежде. Вѣрно, я попросту утомилась. И я стала ждать.

„Ловко будетъ, — думала я, вылѣзая черезъ часъ въ Сестри — если Александра Николаевна не встрѣтитъ. Отлично будетъ!“

Александра Николаевна, эмигрантка, моя знакомая по Россіи — единственное существо, извѣстное мнѣ тутъ. У

ней я должна поселиться, она будетъ моимъ хранителемъ, опекуномъ.

Итальянцы кинулись на меня съ горячностью людей, надѣющихся заработать лиру. Они тотчасъ сообразили, что мнѣ въ Барассо, за два километра отъ станціи: тамъ живутъ русскіе.

Да, но къ кому именно въ Барассо?

Подошелъ начальникъ станціи и сказалъ, что ничего, русская синьора, ожидавшая меня, вышла въ paese, то есть въ городъ, и сейчасъ вернется.

Дѣйствительно, черезъ минуту я увидѣла Александру Николаевну. Она шла ко мнѣ твердой, суховатой походкой. Вѣтеръ трепалъ нѣсколько ея волосы; она была безъ шляпы, въ черной бархатной кофточкѣ, съ папиросой.

Поцѣловала она меня серьезно. Ея видъ какъ бы говорилъ: „Я сдержана, доброжелательна, но не сентиментальна."

Кучера сразу успокоились, и мы сѣли именно въ ту коляску, куда слѣдовало. Я была теперь въ надежныхъ рукахъ.

Александра Николаевна покуривала папиросу.

— У насъ не весело, предупреждаю. Соскучитесь. Даже кафэ нѣтъ.

Кучеръ везъ насъ по приморской улицѣ, аллеей платановъ. На рыбачьемъ суднѣ, въ заливѣ, зажгли красный огонь. По вершинамъ горъ ползли тучи. Было хмуро, сыро. Но отлично пахло моремъ, а когда мы переѣхали шлагбаумъ у туннеля и покатили вдоль берега, у скалъ — сверху донеслось чудесное благоуханіе сосенъ. Справа утесы шли отвѣсно. Море шумѣло глухо, весь берегъ туманился брызгами. Кучеръ щелкалъ бичемъ, покрикивая у-объ! и временами на меня налетала сѣдая морская пыль, отъ которой губы становятся солеными.

У самаго въѣзда въ Барассо насъ снова задержали у шлагбаума: изъ туннеля вылетѣлъ поѣздъ, сверкнулъ

искрами, освѣщенными окнами вагоновъ и, обдавъ насъ дымомъ, понесся къ Генуѣ. Александра Николаевна тронула кучера за спину.

— Направо.

Тотъ свернулъ въ проулокъ между стѣнами, за которыми вились виноградники. Мы остановились у розоваго дома.

Я привыкла къ довольно богатой жизни, и сначала не поняла, что темная лѣстница съ кошками — это главный ходъ. Но оказалось — такъ. Мы поднялись въ третій этажъ. Квартира Александры Николаевны состояла изъ четырехъ комнатъ.

— Вотъ эту, — она отворила дверь въ маленькую, какъ бы монастырскую келью съ бѣлыми стѣнами, — я могу уступить вамъ.

— Отлично.

Александра Николаевна ушла въ кухню, попыхивая папиросой, приготовлять съ итальянской дѣвочкой Маріеттой обѣдъ. Я разбирала свои вещи. Вотъ куда занесла меня судьба! Думала ли я, выступая пять лѣтъ назадъ въ „Князѣ Игорѣ“, что окажусь въ этомъ глухомъ углу итальянскаго побережья, въ квартиркѣ, снятой у лигурійскихъ мѣщанъ, на берегу моря? Могла ли я предвидѣть сегодняшній вечеръ съ хмурыми облаками надъ горой, съ дождемъ, Александрой Николаевной, Маріеттой?

Пока готовили обѣдъ, я вышла въ столовую и отворила окно. Оно выходило въ горы. Внизу, въ виноградникѣ, возился итальянецъ въ синихъ штанахъ, въ большой шляпѣ. Изъ апельсинной рощи шелъ свѣжій запахъ, желтѣли плоды; по горамъ изсѣра зеленѣли оливки, а выше — темныя сосны. Оттуда, какъ и отъ облаковъ, курившихся въ горахъ, вѣяло тишиной, спокойнымъ, важнымъ. „Живите, заблуждайтесь, страдайте, — какъ бы говорили они: — мы плывемъ, подъ нами благоухаютъ лѣса, мы даемъ этотъ сырой, туманный вечеръ, когда въ горахъ жутко, и

сиротливѣй селенія по склонамъ. Мы плывемъ и таемъ, мы жизнь, настоящая, вѣчная жизнь."

Когда въ сельской церкви зазвонили къ Ave Maria и звуки медленно наполняли окрестность, а въ горныхъ храмахъ имъ отзывались другіе — я почувствовала еще сильнѣй, что у этихъ молчаливыхъ существъ есть жизнь, и, быть-можетъ, значительнѣе моей.

Итакъ, я поселилась въ маленькой бѣлой комнатѣ, выходящей на море.

Дурная погода кончилась. Свѣтитъ солнце. Рядомъ, на плоской крышѣ, въ видѣ террасы, итальянка сушитъ бѣлье, а дѣти внизу скачутъ черезъ веревочку.

Странное дѣло: мнѣ не скучно. Я ощущаю огромное сочувствіе къ этой итальянкѣ, къ дѣтямъ, даже къ шумной дѣвчонкѣ Маріи, которая вѣчно ссорится съ подругой — въ окнѣ дома напротивъ.

Иногда онѣ визжатъ, плачутъ, потомъ мирятся и выставляютъ за окно дрозда въ клѣткѣ. Увидѣвъ меня, говорятъ: „Здравствуйте", — и это похоже на щебетъ птицы.

Здѣсь вообще знаютъ русскихъ. Уже нѣсколько разъ слышала я русскія слова. Вчера эмигрантъ спрашивалъ у Маріетты, дома ли Александра Николаевна. Маріетта отвѣтила: „Вѣра (это я) in casa, Саша non c'è".

Достаточно выйти изъ дому — тотчасъ увидишь фигуру, которая только и можетъ быть русской: косоворотка, бандитская шляпа, особенная походка. Если идетъ барышня съ мохнатой простыней, въ сандаліяхъ, — значитъ наша, съ купанья.

Чаще всего нашихъ можно встрѣтить у моря. Возможно, въ нашей натурѣ есть то мягко-пѣвучее, что влечетъ къ одиночеству, мечтательной меланхоліи. Затѣмъ, большинство здѣсь, какъ и я, разбитые корабли.

Можетъ-быть, оттого, что за послѣдніе годы мнѣ самой много пришлось перенести, — эти люди вызываютъ во мнѣ жалость. Прибавлю: жалость не обидную. Ту, которой пусть и они пожалѣютъ меня.

На дняхъ я познакомилась съ двумя здѣшними барышнями. Одна называется Катя, другая еврейка, Леечка. И вотъ эта „товарищъ Катя“, маленькая, съ астмой, завѣдывала какой-то лабораторіей; была сослана въ Сибирь, на каторгу. Бѣжала черезъ всю Азію.

Конечно, она существо надломленное, усталое, хотя и сохранила остатки прежняго — слова: „законспирировалась“, „публика“, и пр.

Леечка — совсѣмъ другое. Но она не эмигрантка, учительница изъ западнаго края. Ее послали сюда поправляться. Она черненькая, очень молодая, экзальтированная и склонная вѣрить во все возвышенное. Она часто ходитъ съ томикомъ Гейне, Пушкина, забирается на гору Сантъ-Анна, или ложится у моря, читаетъ. Встрѣтивъ меня, вся зардѣется.

— Здравствуйте. — Какія нынче прекрасныя погоды!

Ея черные глаза блестятъ, она смотритъ на море, солнце, а я думаю: „въ ней есть поэтъ“, — и мнѣ пріятно это.

— Идемъ купаться? — говоритъ она. — Хорошо? Я цѣлый день могу здѣсь ходить, тутъ такъ хорошо!

На пляжѣ мы встрѣчаемъ Александру Николаевну. Въ рукахъ у ней письмо, и я догадываюсь, отъ кого: отъ мужа, изъ Милана. У нихъ что-то происходитъ, несомнѣнно. Александра Николаевна куритъ изъ мундштука, ея сѣрые, умные глаза печальны. Мы съ Леечкой раздѣваемся (никого здѣсь нѣтъ). Солнце блеститъ въ водѣ, вода хрустально-зеленая, теплая, и вся кипитъ пузырьками. Мы смѣемся, ложимся; волны окатываютъ насъ. Точно жизнь, сила входитъ въ меня съ этими волнами.

По насыпи проносится поѣздъ. „Чау, чау!“ кричимъ мы. Леечка вылѣзла уже, а мнѣ не хочется. Такъ бы и

лежала на пескѣ, обдаваемая кипящимъ серебромъ, смотрѣла бъ на горы, голубое небо надъ ними, дышала-бъ солнечно-соленымъ воздухомъ. Леечка отираетъ ножки о песокъ.

— Ахъ, какой нынче замѣчательный день! Какъ удивительно тепло!

Утро. Я иду проулкомъ между домами, въ тѣни. Розовыя стѣны залиты солнцемъ. Изъ садика свѣшивается виноградъ. Въ нишѣ — грубо сдѣланная статуэтка Франциска Ассизскаго.

У выхода на приморскую улицу встрѣчаю дѣвочку Таню. Беретъ меня за руку.

— Купаться идете?

— Нѣтъ.

— Можно съ вами?

— Идемъ.

— Вы знаете, — мы завтра уѣзжаемъ. То-есть, я, Лена и мама. Папа остается, не можетъ. А мы въ Россію.

— Вамъ хочется въ Россію?

— Нѣтъ.

Таня задумчиво шагаетъ рядомъ со мной. Она бѣленькая дѣвочка, очень загорѣлая, въ веснушкахъ. Ножки у ней до колѣнъ голыя.

— Намъ здѣсь какъ въ раю было. Мы играли очень хорошо. Вы знаете Ромоло, хозяйскаго сына? Очень симпатичный!

Я знаю и Ромоло, и Танина отца — плотнаго эмигранта съ типично-русскимъ, грубоватымъ лицомъ. На лѣто къ нему пріѣзжала изъ Россіи семья. Онъ въ первый разъ увидѣлъ дочь, родившуюся безъ него, въ Росссіи. Теперь семья уѣзжаетъ, — можетъ-быть, на годъ, а то и на два: жена его учительница въ Россіи.

Я сжимаю Танину руку.

— Вамъ жаль съ папой разставаться?

— Жаль. — А папа насъ очень жалѣетъ. Онъ вчера цѣлый вечеръ плакалъ.

Пройдя подъ желѣзнодорожной насыпью, мы выходимъ на пляжъ. Рядомъ, въ ручьѣ, впадающемъ въ море, расплывшемся дельтой, прачки полощутъ бѣлье. Вдали тянутъ сѣть голоногіе рыбаки. Подошвы горъ у моря — въ голубомъ туманѣ.

— Какой песочекъ славный! — говоритъ Таня.

Отъ нагрѣтаго песка здѣсь теплѣе, надъ нимъ колеблются стеклянныя струи. Городъ Кіавари, у горъ, слегка переливается: очертанья домовъ текутъ. Таня показываетъ въ сторону рыбаковъ.

— А, вонъ папа! — Видите, сидитъ съ Машей.

Маша его годовалая дочь. Мы подходимъ сзади, онъ не замѣчаетъ насъ. Но я вижу, какъ цѣлуетъ онъ свою дѣвочку, какъ покачивается съ ней, точно напѣвая что-то.

— Послушайте, Таня, я не могу съ вами идти... Я забыла, мнѣ домой... надо.

Я поворачиваюсь и, не подымая глазъ, иду назадъ, къ проходу подъ линіей. Не хочу я, чтобы Таня видѣла и мои слезы.

Человѣкъ сильно, сильно мѣняется. Вспоминая себя десять лѣтъ назадъ, я съ трудомъ возстановляю, что это я, никто другая. Я была тогда молода, горяча, и очень многаго хотѣла для себя. Не могу отрицать, я была чувственна и славолюбива. Моя любовная жизнь началась рано, и среди серьезныхъ увлеченій я знала и такъ называемый „угаръ страстей“.

Одно изъ очень тяжелыхъ воспоминаній моей юности — самоубійство студента, котораго я завлекла. Его смерть и сейчасъ встаетъ надо мной тяжкимъ укоромъ. Многое въ своихъ послѣдующихъ страданіяхъ я считаю карой.

Главная кара — это моя жизнь съ мужемъ. Отлились кошкѣ мышкины слезки. Мужъ былъ моложе и сильнѣе

меня. Раньше я мучила тѣхъ, кто слабѣй въ любви, теперь я попалась. Я страдала много; — что ужъ скрывать — и отъ его отношенія, отъ измѣнъ, но молчала. Родился Боря, пришлось бросить сцену. Съ Борей въ жизнь мою пришло совсѣмъ новое, и такое сильное, сладостное и завлекательное, что я даже не ожидала. Богъ съ ней, со сценой, славой!

Но, видимо, мнѣ не дано этого счастья. Зачѣмъ буду я вспоминать о томъ ужасѣ, который пришлось перенести, о борьбѣ за Борю, когда мужъ окончательно бросилъ меня, о томъ, что мы, какъ звѣри, вырывали его другъ у друга, крали, вовлекали пятилѣтняго ребенка въ нашу распрю.

Я была способна на подлость, подкупъ, предательство. Господи, все это такъ, но Ты знаешь, что это ослѣпленная, отчаявшаяся женщина, забывшая все. Быть-можетъ, поэтому Ты смилуешься надъ ней.

Зато я научилась понимать всѣхъ, у кого дѣти. Всякое горе, связанное съ ребенкомъ, дѣлаетъ мнѣ человѣка близкимъ. Пусть пошлетъ Всевышній радости дѣтямъ.

Александра Николаевна рѣже получаетъ письма, но чаще ходитъ за ними.

Почта отъ насъ въ двухъ шагахъ. Никогда раньше не видала я такой почты. Дважды въ день старичокъ бредетъ на станцію съ сумкой, приноситъ десятокъ писемъ — большинство русскимъ. Выдаютъ безъ разбору, кому угодно. Старикъ не умѣетъ прочесть ни одной русской фамиліи. Если нѣтъ его сына, трудно добиться толку.

Александра Николаевна ходитъ за письмами съ неизмѣннымъ мундштукомъ во рту, спокойно поглядывая на ребятишекъ, скачущихъ у колодца.

— Niente! — отвѣчаетъ почтмейстеръ.

Она такъ же покойно возвращается, сидитъ у себя въ комнатѣ. Я пробовала звать ее пройтись, въ горы — она

никуда не выходитъ. Въ ея комнатѣ туманъ отъ дыма, а вечеромъ появляется фіаска краснаго вина, и къ двѣнадцати Александра Николаевна выпиваетъ ее, съ помощью двухъ-трехъ эмигрантовъ.

— Зайдите ко мнѣ. Вы считаете меня пьяницей, но это ничего. Мало ли за кого меня здѣсь считаютъ. Я улыбаюсь.

— Вы пьяница и есть. Что тутъ считать? Мнѣ только странно, почему вы сидите въ духотѣ, табачищѣ, когда есть такое море?

Александра Николаевна уставилась на меня покраснѣвшими глазами.

— Прежде я была умная и честная — Теперь все это прошло. Я третьяго дня на скалахъ заснула, да утромъ только проснулась. Всю ночь продрыхла.

— Все-таки, пойдемъ на воздухъ.

Я беру ее подъ руку, свожу внизъ, по нашей темной и крутой лѣстницѣ. Эмигранты остались допивать вино.

— Да, тутъ легче дышать.

Мы идемъ мимо домовъ итальянцевъ, гдѣ спятъ уже эти простые люди, земледѣльцы, рыбаки. По древнему мостику, узенькому, крутому, переходимъ ручей. Долина между горъ, откуда бѣжитъ онъ, темна, полна ночного бархата. Таинственно журчитъ ручей. На горѣ повисли огромныя звѣзды — такъ именно кажется, что повисли.

Мы выходимъ къ приморскому шоссе. Александра Николаевна кутается въ платокъ.

— Можетъ, напрасно, а я вамъ все-таки скажу. У меня съ мужемъ разрывъ полный. Конецъ, я чувствую.

Изъ темноты выдѣлились двѣ фигуры. Въ одной узнаю Леечку. Другая — Сеня, анархистъ. Они тоже что-то съ жаромъ говорили. Увидя насъ, смолкаютъ.

— Леечка!

— Да, это мы. Ахъ, здравствуйте, я въ темнотѣ васъ не различила! Какая ночь, не правда ли?

Я не вижу ея лица, но чувствую, что она смущена.

— Леечка, нехорошо по ночамъ гулять съ анархистами.

— Ахъ, что вы говорите, мы же немножко только прошли къ скаламъ. Ну, Сеня, правда?

Александра Николаевна не вѣритъ.

— А на скалахъ навѣрно цѣловались.

— Это что-то ужасное они про насъ выдумали. Правда, Сеня?

— Ничего подобнаго! — отвѣчаетъ Сеня, молодой бритый человѣкъ съ огромной головой и еврейской нервностью. — Если бы хотѣлъ цѣловаться, то не спрятался бы для этого на скалы.

— Приходите завтра купаться, если будетъ хорошее море! — кричитъ изъ темноты Леечка.

— Они врутъ, что не цѣловались, это ужъ навѣрно, — говоритъ Александра Николаевна. — Наши всегда на скалахъ цѣлуются.

Мы идемъ теперь по тому шоссе, по которому въѣзжала я сюда двѣ недѣли назадъ. Слѣва черная стѣна скалъ; справа море, чуть бормочущее.

Мы сѣли на утесахъ при дорогѣ, въ мѣстѣ, гдѣ сама природа позаботилась сдѣлать скамью. Здѣсь можно сидѣть очень удобно, облокачиваясь спиной о камень. Передъ глазами ночь, море, золотые огоньки Сестри. Александра Николаевна дышетъ тяжело.

— Мужъ написалъ мнѣ, что не можетъ между нами быть прежняго. Онъ говоритъ, что прежняя жизнь — обманъ. Онъ не хочетъ такъ продолжать. Ему нужна свобода.

Она подходитъ къ обрыву и бросаетъ внизъ папиросу. Огонекъ прорѣзываетъ тьму дугой и пропадаетъ. Александра Николаевна обертывается.

— Онъ меня обманывалъ, а теперь ему нужно, чтобы все происходило свободно. Я ничего не говорю. Конечно, пусть меня бросаетъ.

Она садится, кладетъ голову на камень и нѣсколько времени сидитъ молча. Я хочу что-то ей сказать, обнять ее, поцѣловать, но не выходитъ. Жму лишь руку.

— Тогда зачѣмъ же было тянуть все это, шепчетъ она, точно про себя. — Я его не удерживала.

Ночь уходитъ все дальше. Звѣзды измѣнили мѣста: однѣ заходятъ за чернѣющій край скалъ, другія появляются надъ Сестри. Влажный, теплый вѣтерокъ набѣжалъ съ моря. За туннелемъ свиститъ поѣздъ. Пора очнуться.

— Ну, скажите жъ мнѣ, что дѣлать?

Я знаю, что надо дѣлать: надо все пережить, измучиться, и полуразбитой выйти снова.

— Терпите, милая, терпите.

Она вновь кладетъ голову на камень.

Я продолжаю:

— Богъ далъ намъ страданія для неизвѣстныхъ цѣлей. Не намъ ихъ понять. Мы можемъ лишь любить.

Помню я, что прежде, давно, когда я была извѣстной, богатой и красивой, все въ жизни сосредоточивалось для меня на мнѣ самой. Люди столько меня интересовали, сколько восхищались моимъ пѣніемъ, ухаживали за мной и льстили. Часто я понимала, что лесть груба, корыстна; но такова ея сила надъ нами: всегда наше сердце на сторонѣ того, кто хвалитъ.

Во всякомъ случаѣ — не ѣздившіе въ Большой театръ, не аплодировавшіе и не подносившіе цвѣтовъ были для меня ничто. Я не желала имъ зла. Но во мнѣ было уже нѣкоторое недовольство тѣми, кто предпочиталъ моему пѣнію науку, литературу, живопись.

Такъ было давно. А съ тѣхъ поръ, какъ изъ извѣстной пѣвицы я превратилась въ бездомную бродягу, изъ года въ годъ мѣнялось мое отношеніе къ людямъ.

Я заговорила объ этомъ потому, что здѣсь, въ приморской итальянской деревушкѣ, чувство это проявилось во мнѣ сильнѣе.

Да, меня интересуютъ и прачки, полощущія бѣлье въ ручьѣ, и работники, собирающіе оливки; и рыбаки, и каменотесы, что вѣчно чинятъ дорогу въ Сестри. Дѣти и старики, два раза въ день выходящіе къ морю, и стрѣлочница Тереза съ четырьмя малышами — полуголодная, но всегда бойкая, живая, энергичная. И, наконецъ, наша Маріетта.

Маріетта меня занимаетъ въ особенности. Ей четырнадцать лѣтъ, она тоненькая, съ черными продолговатыми глазами и этрусскимъ профилемъ. Она является къ намъ утромъ, убираетъ комнаты — съ той легкостью, граціей движеній, которыя свойственны ея расѣ. Она же намъ готовитъ. На помощь ей является бабушка — сказочнаго вида старушонка — и вдвоемъ онѣ жарятъ и варятъ въ кухнѣ. Отъ жара Маріетта розовѣетъ. Глаза ея блестятъ ярче.

Отслуживъ, она становится снова ребенкомъ, прыгаетъ съ дѣтьми у колодца, бѣгаетъ по пляжу съ дѣвицами Бокка, ея пріятельницами.

Александру Николаевну она очень любитъ, называетъ Саша. Знаетъ исторію съ мужемъ, и мужа не одобряетъ: какъ у многихъ въ Италіи, у ней простой и прочный взглядъ на бракъ.

— Ну, что, какъ Александра Николаевна? — спрашиваю я утромъ, когда она убираетъ мою комнату.

— Piange sempre. Ночь не спала.

— А госпожа Бокка?

Маріетта хохочетъ. Бокка, мать ея подругъ Розы и Цецилiи, ея личный врагъ, какъ и всѣхъ почти въ Барассо. Она богатая (у ней вилла рядомъ съ нами), но скупая и злая. Здѣсь считается хорошимъ тономъ сдѣлать ей гадость.

Маріетта развеселилась. Ночью у Бокка украли курицу. Она сегодня въ слезахъ, въ обморокѣ, Роза съ Цециліей отхаживаютъ ее. Маріетта изображаетъ, какъ Бокка лежитъ на постели и стонетъ: O, mia gallina!

Пріотворяется дверь Александры Николаевны.

— Тиночка!

Маріетта сразу вскакиваетъ и бѣжитъ. Лицо ея серьезно.

Черезъ минуту она стучитъ башмачками къ почтѣ.

Къ завтраку Александра Николаевна выходитъ худѣе, блѣднѣе обычнаго. Какъ всегда, съ папиросой.

— Маріетта, еще фіаску къ вечеру!

— No, — говоритъ она умоляюще: — Саша, не надо. Vino vi fa male.

— Ничего, милая, тащи. — Все равно, я тутъ послѣдніе дни. Въ Парижъ ѣду. Больше не могу.

Послѣ завтрака она запирается, и читаетъ, читаетъ до одурѣнія.

На другой день Маріетта ведетъ меня къ госпожѣ Бокка, гдѣ я должна снять комнату.

Калиткой мы входимъ въ садъ съ пальмами, я вижу внушительную виллу, ступаю по дорожкѣ, усыпанной гравіемъ, въ блескѣ солнца — и исполняюсь почтенія къ владѣлицѣ всего этого.

Двѣ миловидныя дѣвушки возятся въ саду — развѣшиваютъ на солнцѣ старыя платья. Маріетта подмигиваетъ имъ и мнѣ. Это ея пріятельницы Роза и Цецилія, которыхъ мать держитъ сурово.

Роза дѣлаетъ мнѣ реверансъ. Она старше и красивѣй Цециліи. Но у обѣихъ такъ черны волосы, какъ только могутъ быть у итальянокъ.

— Мама, вѣроятно, еще не одѣта, — объявляетъ она на плохомъ французскомъ языкѣ.

— Ничего, покажите комнату.

Роза и Цецилія весело бѣгутъ впередъ. Видимо, рады оторваться отъ работы, посмотрѣть новаго человѣка.

По лѣстницѣ, выложенной мраморомъ, подымаемся во второй этажъ. Весь онъ пустъ. Мнѣ предлагаютъ двѣ

комнаты — одну съ видомъ на море, другую въ горы — за пятьдесятъ франковъ. Хотя давно здѣсь никто не жилъ, но обстановка хорошая, свѣтло, пріятно. Я соглашаюсь, и меня ведутъ внизъ, къ Бокка.

Госпожа Бокка встрѣтила меня въ томъ растерзанномъ видѣ, какой бываетъ по утрамъ у зажиточныхъ и бездѣльныхъ итальянокъ. Ей за сорокъ; видимо, была красива, теперь толста и плачется о лирахъ, о возможныхъ убыткахъ и огорченіяхъ.

Я доказываю, что никакихъ ущербовъ не нанесу и отвѣчаю за цѣлость каждаго стула. Она сыплетъ скороговоркой, и, кажется, увѣряетъ, что отъ такой женщины, какъ я, она ждетъ лишь хорошаго.

Въ дверь подглядываютъ Маріетта и Цецилія. Вѣрно, онѣ щиплются, тихо взвизгиваютъ. Роза покорно стоитъ рядомъ съ матерью. Я подымаюсь.

— Значитъ, съ завтрашняго дня.

Какъ бываетъ иногда, когда надѣнешь другое платье, или въѣдешь въ новую квартиру — чувствуешь себя инымъ.

Я вышла въ залитой солнцемъ садъ, гдѣ цвѣли розы, и мнѣ представилось на мгновеніе, что я въ Ниццѣ, что вилла это моя собственная, что изъ-за угла выскочитъ сейчасъ Боря; что съ мужемъ мы живемъ хорошо, какъ было давно, въ первые мѣсяцы замужества.

Это мгновенное видѣніе взволновало меня, мнѣ не захотѣлось возвращаться домой. Я перешла черезъ каменный мостикъ и пошла по теченію ручья, въ долину.

Небо было голубое, съ разорванными облачками. Тѣнь оливокъ трепетала вокругъ. Пѣли птицы, ящерица пробѣжала по камню на припекѣ. Въ другомъ мѣстѣ я встрѣтила первый проблескъ весны: горсть фіалокъ. Я сорвала ихъ, стала нюхать, и ихъ сладкій, сентиментальный запахъ снова взволновалъ меня: я вспомнила букетъ такихъ же пармскихъ фіалокъ, который поднесли мнѣ разъ въ Боль-

шомъ театрѣ, за Татьяну. Но Богъ съ ними, съ воспоминаніями. Я шла дальше и дальше, ущелье суживалось; съ обѣихъ сторонъ тянулись оливковыя рощи и сосновыя.

По очень крутой тропинкѣ я стала подыматься вверхъ. Мнѣ хотѣлось добраться до горной деревушки Алессіо.

Скоро оливки остались внизу. Я вошла въ область сосенъ. Онѣ зеленѣли особенно, — не такъ, какъ у насъ — ихъ зелень на голубизнѣ неба здѣсь поразительна.

Я сидѣла на камнѣ, меня грѣло солнце. Я вдыхала смолистый воздухъ, смотрѣла, какъ орелъ плыветъ въ небѣ, слушала таинственные голоса птицъ, перекликавшихся въ горахъ; видѣла, какъ съ тяжестью на головѣ подымается снизу дѣвочка — она идетъ въ Алессіо. И со мной ничего не случилось. Но мнѣ хочется упомянуть объ этомъ ясномъ днѣ, предвѣстникѣ весны, о томъ, какъ я сидѣла на камнѣ и смотрѣла на дѣвочку изъ Алессіо, о той тихой и кроткой силѣ, которая нисходила тогда въ мое сердце.

Александра Николаевна заходила ко мнѣ прощаться, и наставляла Розу и Цецилію, чтобы хорошо за мной ухаживали, были внимательны, заботливы.

Потомъ крѣпко пожала мнѣ руку, мы поцѣловались, и снова тѣмъ дѣловымъ тономъ, какимъ говорила въ день моего пріѣзда, она сказала:

— Провожать меня не надо. Это сентиментальности.

Русскіе не знали, когда она уѣзжаетъ, но мы съ Маріеттой пронюхали, что съ вечернимъ, — якобы въ Нерви: и пришли на вокзалъ.

Было пустынно, уныло на нашемъ полустанкѣ. Два фонаря, нетрезвый начальникъ въ красномъ кэпи, съ огромной трубкой. Гулъ моря, далекіе, золотистые огни Кіавари, черная бездна неба въ звѣздахъ. Мнѣ почему-то представилось, что и здѣсь, какъ въ Россіи, неуютно и

печально жить людямъ, встрѣчающимъ и отправляющимъ поѣзда.

Когда подошелъ treno omnibus, Александра Николаевна вошла въ купэ, въ третій классъ, я вдругъ почувствовала, что осталась теперь совсѣмъ самостоятельная, одна въ этой странѣ.

Я подала ей въ окно букетикъ фіалокъ, еще разъ пожала руку. Маріетта быстро вскочила на подножку, поцѣловала.

Такъ мы ее проводили. Поѣздъ omnibus, останавливающійся на каждомъ полустанкѣ, потащилъ ее въ Геную, а оттуда въ Парижъ, къ новой жизни, мы же вернулись къ нашей малой, гдѣ главныя событія — каково море, есть ли солнце, задуетъ ли трамонтано.

Впрочемъ, какъ и вездѣ, — на нашей виллѣ тоже оказались свои интересы, даже страсти и борьба.

Госпожа Бокка собиралась выходить замужъ, а у Розы шелъ романъ съ русскимъ студентомъ. Къ Бокка пріѣзжалъ изъ Флоренціи синьоръ Морозо, и тогда все въ квартирѣ чистили, мыли, дѣвушки полдня ходили съ подоткнутыми подолами и вытаскивали на нижнюю террасу мебель. Къ обѣду жарили курицу. Являлась фіаска вина. Дѣвушки ненавидѣли Морозо, боялись, что онъ станетъ вотчимомъ, и вообще только и мечтали, какъ бы поскорѣе удрать отъ матери. Строили даже планы — бѣжать въ Парижъ.

Этому способствовало и то, что Роза полюбила студента. Мать слышать не хотѣла о бракѣ. Она ждала для дочери милліонера, какъ нѣкогда было съ ней самой: она была замужемъ за первымъ богачомъ Кіавари, покойнымъ отцомъ Розы и Цециліи. Она же его разорила, забрала остатки состоянія, бросила: онъ умеръ чуть не на улицѣ.

Во всѣ эти дѣла посвятила меня Маріетта. Она перешла ко мнѣ по наслѣдству, и каждое утро я слышала ея легкую поступь у двери, осторожный стукъ — и въ комнату заглядываетъ ея черненькое, острое личико съ этрусскимъ профилемъ.

— Vuole stufa? — спрашиваетъ она неизмѣнно.

— „Хочу ли я печку“ — какой милый языкъ! Я ее хочу — и, пока одѣваюсь, Маріетта бросаетъ въ желѣзную печку шишки, хранящіяся у меня въ углу комнаты, въ мѣшкѣ. Ихъ оставилъ намъ уѣхавшій русскій, котораго итальянцы называли signor Barbalov, за его бороду. У насъ шишки зовутся pigni del signor Barbalov.

Pigni трещатъ, мечутъ искры. Въ комнатѣ появляется тонкій запахъ ладана. Маріетта накладываетъ угля, а я отворяю ставни. Мое удивленіе немало: въ горахъ, и у насъ, въ Барассо, бѣлая изморозь — снѣгъ.

— Это бываетъ, — объясняетъ мнѣ Маріетта. — Это ничего, на нѣсколько часовъ.

И, взбивая мою постель, она весело разсказываетъ, что сегодня всѣ ходили изъ Барассо на охоту. Птицы боятся холода, спускаются съ горъ и дѣлаются такими вялыми, безжизненными, что ихъ можно брать руками. Въ прошломъ году она сама поймала нѣсколько штукъ.

Я выхожу въ другую комнату — она очень свѣтлая, съ видомъ на сѣро-зеленое море. По насыпи проносится курьерскій изъ Генуи въ Римъ; въ это время къ Маріеттѣ пробралась маленькая Лелія, четырехлѣтній карапузъ, племянница Бокки. Маріетта смѣется.

— Русскіе зовутъ Бокка жабой. Я и Розина научили Лелію, она вчера dice: „тетя Бокка жаба“. Бокка domandala: „что такое жаба, cosa vuol dire жаба“. Мы говоримъ: „русское слово, такъ русскіе называютъ женъ“.

И Маріетта заливается, тискаетъ Лелію. Она счастлива, что удалось подложить Боккѣ свинью.

— А какъ же, Маріеттиночка, дѣла у Розы со студентомъ?

Маріетта хихикаетъ: изъ чего я заключаю, что дѣла не плохи.

— Бокка не позволяетъ замужъ. Онъ ее украдетъ, vuole rubarla. E poi scappare a Parigi.

Я знаю, что scappare a Parigi мечта не одной Розы, но и Цецилiи, и Маріетты. Парижъ кажется имъ необыкновенно прекраснымъ городомъ, центромъ міра, красоты, роскоши, великолѣпія.

Хоть очень меня занимаютъ переливы, узоры жизней вокругъ, и я переписываюсь съ Александрой Николаевной, часто и помногу говорю съ Леечкой и ея анархистомъ, цѣлую Розу, все же не нужно думать, что меня не посѣщаютъ тоска и мучительное томленіе: всегда по одному — по Борѣ. Какъ я ни стараюсь привыкнуть къ мысли, — что для меня нѣтъ его — мнѣ все же очень трудно это сдѣлать. Вообще — увѣщевать на скалахъ Александру Николаевну — одно, а управлять своими чувствами — другое.

Я помню, напримѣръ, одинъ вечеръ.

Я вышла, по обыкновенію, къ морю. Садилось солнце. По всему нашему побережью былъ разлитъ тихій, розовѣющій свѣтъ. Въ ущельяхъ фіолетовѣла тѣнь. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ нестерпимо блестѣли стекла.

Изъ туннеля вылетѣлъ поѣздъ, мимо меня пробѣжали знакомые вагоны, и, какъ всегда, на послѣднемъ, коричневой фанеры, надпись: „Paris—Rome“.

Я шла по самому краю берега. Тамъ, гдѣ садилось солнце, въ прозрачномъ воздухѣ я вдругъ замѣтила снѣжныя вершины — это приморскія Альпы, у Франціи, они являются иногда, какъ видѣнія, въ очень тихіе и прозрачные вечера.

Я чувствовала, что отъ этихъ горъ, отъ поѣзда, умчавшагося въ неизвѣстность, отъ туманно-прекрасной музыки свѣта я впадаю въ лирическое волненіе. Быть-можетъ, будь я поэтомъ, я стала бы слагать стихи, въ этомъ одиночествѣ, у моря. Но у меня лишь тѣснило грудь, я напѣвала что-то; въ горлѣ стояли слезы.

Волны нѣжно лизали песокъ. Онѣ набѣгали чуть слышно, стеклянной влагой, съ легкимъ шипѣніемъ спрядывали.

Тонкой шелковой пеленой оставался на пескѣ ихъ слѣдъ, переливаясь небесной лазурью, розовыми отсвѣтами. О, какъ прелестны эти закатные шелка моря!

Потомъ все угасло. Стемнѣло, я осталась одна, безъ этихъ радужныхъ фантасмагорій; по сыпучему песку я прошла къ камнямъ, у линіи. Я ощутила вдругъ такую раздирательную тоску, что мнѣ хотѣлось закричать на все прибрежье, на всю прекрасную, но для меня сейчасъ ненужную страну: Боря, Боря! Боже мой, если бы его увидѣть, хоть разъ.

— Due, — сказалъ мнѣ почтмейстеръ, подавая два письма. — Anche una stampa.

Стампа эта оказалась выписанной изъ Рима книгой, а одно письмо отъ Александры Николаевны. Я вскрыла его и читала, проходя по дорожкамъ нашего сада. Другого не успѣла прочесть; подбѣжала Роза, приколола мнѣ на грудь нѣсколько мимозъ, и повела къ себѣ.

— Синьора Вѣра, мамы нѣтъ, она во Флоренціи у Морозо, я хочу съ вами посовѣтоваться.

И присѣвъ у себя на кровати, блестя глазами и волнуясь, Роза разсказывала мнѣ, какъ ей опостылѣло жить у матери, видѣть Морозо, какъ ей хочется вырваться. Но она должна бы уѣхать ... не одна. (Роза смутилась, тонкій румянецъ разлился по ея лицу). Я русская — она не станетъ скрывать, она любитъ одного молодого русскаго. (Роза вдругъ обняла меня, спрятала въ плечѣ зардѣвшееся личико и стала цѣловать мою шею).

— Ну, хорошо. Что же дальше?

Она хочетъ спросить меня, какъ русскіе смотрятъ на дѣвушку, которая согласна, не вѣнчавшись, бѣжать въ Парижъ. У нихъ, напримѣръ, къ этому отнеслись бы строго. А вдругъ женихъ подумаетъ, что она какая-нибудь такая, легкомысленная?

Все это было довольно курьезно и по-дѣтски, но съ дѣвушекъ, видѣвшихъ на своемъ вѣку только море, солнце, да глупую мать, трудно большаго и спрашивать. Къ тому же черные глаза Розины такъ сіяли, что она вызвала во мнѣ полное сочувствіе. Я ее успокоила. Ничего, если поѣдетъ въ Парижъ и невѣнчанная. Русскихъ бояться нечего. А что въ Парижѣ можетъ быть трудно изъ-за денегъ, — пусть имѣетъ въ виду.

Въ заключеніе я повела ее къ себѣ завтракать,—и тамъ застали мы еще двухъ дѣвицъ: Леечку и Катю. Я была очень рада, велѣла Маріеттѣ притащить вина, взять побольше сыру и сбѣгать къ Кармелѣ за шоколадомъ, апельсинами, которые мужъ Кармелы выращиваетъ у себя въ саду: намъ приносятъ ихъ на вѣткахъ, съ листиками.

Итакъ, получился дамскій банкетъ. Мы растворили окна, въ комнату врывался солнечный вѣтеръ, виднѣлась синева моря, и чудесно бѣлѣло на ней абрикосовое дерево въ цвѣту. Леечка выпила вина, раскраснѣлась, смѣялась и говорила, восторженно блестя глазами: „Ахъ, какія прекрасныя погоды!“

Худенькая Катя, слегка задыхаясь отъ приступа астмы, сообщила мнѣ, что „эмигрантская публика въ Нерви устраиваетъ вечеръ въ пользу кассы“ — и не могу ли я спѣть на немъ.

Я была нѣсколько удивлена. Въ первую минуту мнѣ стало даже непріятно. Представилось, что, когда я выйду, всѣ первымъ дѣломъ подумаютъ: „а, отставная пѣвица!“ И въ ихъ снисходительности будетъ для меня очень горькое. Но потомъ я взглянула въ открытое окно, въ которомъ вѣтеръ вздувалъ легкія занавѣски, увидѣла рыбацкую лодку подъ оранжевымъ парусомъ, — что-то простое, свѣтлое вошло въ мою душу, и мгновенно ея состояніе измѣнилось. „Гордость, самолюбіе — отголоски прежняго, — подумала я. — Этимъ Катямъ и разнымъ невѣдомымъ „товарищамъ“ дѣйствительно нужны деньги, и я

имъ помогу, а буду ли имѣть успѣхъ, или нѣтъ, посмѣются надо мной, или не посмѣются — это неважно, это все очень, очень пустое".

И я весело согласилась. Мнѣ даже понравилось, что поѣду въ Нерви, увижу новыхъ людей, новыя мѣста — немного освѣжу свои впечатлѣнія.

На томъ мы и порѣшили.

Обѣдъ закончился фруктами, потомъ дѣвицы висѣли на подоконникахъ, разсматривая, какъ отходитъ въ Сестри кукушка — омнибусъ, какъ въ саду при трактиріи итальянцы играютъ въ шары — boccе, — и, наконецъ, ушли.

Я совсѣмъ забыла про второе письмо, полученное сегодня, и только теперь вскрыла его.

Дальняя родственница, старушка, съ которой у меня сохранились добрыя отношенія, писала, что мужъ мой заболѣлъ, и врачи рекомендовали ему Нерви. Онъ взялъ съ собой Борю.

Я глубоко передохнула. Такъ вотъ гдѣ, въ Нерви!

Я накинула платокъ, захватила шоколадъ, заперла свои комнаты и чуть не бѣгомъ бросилась на Сантъ-Анна. Можетъ-быть, я выбрала ее потому, что ходьба въ гору утомляетъ, или же инстинктивно хотѣлось простора, далекаго вида; я была права, выбравъ именно этотъ путь.

Не могу разсказать, какъ хороша тропинка на Сантъ-Анну теплымъ солнечнымъ днемъ, послѣ полудня. Надо самому видѣть тѣни оливокъ, — тонкія, кружевныя, посмотрѣть на молодыхъ лигуріекъ, работающихъ въ виноградникѣ, ощутить золотой припекъ на южномъ склонѣ горы, взглянуть на голубоватую бездну воздуха надъ моремъ, на само море, окутанное туманнымъ блескомъ, — прислушаться къ шороху ящерицъ, къ нѣжному гудѣнію телеграфа.

На одномъ изъ поворотовъ тропинки я увидѣла слѣдующую сцену: на поваленномъ телеграфномъ столбѣ сидятъ Леечка и Маріетта. Маріетта читаетъ вслухъ — Льва Толстого!

Увидѣвъ меня, онѣ зардѣлись, захохотали, и Лесчка стала восторженно жать мнѣ руки. Но я сказала, чтобы продолжали, а сама пошла дальше.

Я забралась въ сосновый лѣсъ надъ развалинами монастыря, и легла на каменистый склонъ, обращенный къ югу. Сквозь стволы я видѣла только синее море, надъ нимъ голубое небо, яркую зелень сосенъ. Это были волшебныя минуты. Снова, какъ бывало это у моря и въ горахъ, я почувствовала, что дышу тысячею грудей и вижу тысячами глазъ. Вѣтерокъ, шумѣвшій въ соснахъ, гудѣніе проволокъ, запахъ цвѣтущаго вереска, море, скалы, итальянки, собиравшія хворостъ и перекликавшіяся гдѣ-то еще выше меня — все это былъ одинъ свѣтлый, солнечный духъ, въ которомъ я плыла, какъ въ райской ладьѣ. Мнѣ казалось, что и Боря никогда не уходилъ отъ меня, онъ со мной, въ моемъ трепещущемъ, изливающемся свѣтомъ сердцѣ.

Я ѣхала въ Нерви не безъ волненія. Я такъ засидѣлась у насъ въ Барассо, такъ привыкла къ полудеревенской жизни, что меня стѣсняло предстоящее выступленіе.

Кромѣ того, я упорно вспоминала о Борѣ, и это тѣснило мнѣ сердце. Я думала: не нужно, конечно, его встрѣчать, растравлять старыя раны. Въ то же время не могла не сознаться, что мучительно мнѣ хочется его видѣть.

Въ Нерви зажигались огоньки, когда подошелъ нашъ поѣздъ. Море хлестало въ скалы непривѣтно, на горизонтѣ было хмуро. Жутко становилось за далекій пароходъ, шедшій изъ генуэзскаго порта, быть-можетъ, въ Америку. Настанетъ ночь въ безбрежномъ, свинцовомъ морѣ. Одиноко будетъ мореплавателямъ.

На вокзалѣ меня встрѣтила Катя и повезла въ Grand Hôtel. Она была чисто одѣта, подтянута, и по ея виду я сразу поняла, что здѣсь курортъ, настоящее европейское мѣсто. Въ вестибюлѣ Grand Hôtel'я я почувствовала это еще сильнѣй: электричество, цвѣты, плетеныя кресла для

отдыха, элегантный портье — все это вдругъ стало мнѣ пріятно. Я улыбнулась на себя и вспомнила, что подобное чувство бываетъ иногда, когда послѣ долгаго житья въ деревнѣ попадешь въ столицу. У меня явилось это праздничное, столичное настроеніе.

Катя тотчасъ убѣжала, сказавъ, что зайдетъ въ девять, передъ самымъ концертомъ. Я — же прошла къ себѣ въ номеръ, вымылась, взяла ванну и стала одѣваться. Не знаю почему, у меня все время было какое-то сладко-грустное ощущеніе. Казалось ли мнѣ, что я помолодѣла? Что во мнѣ есть еще дѣвическая стройность, еще глаза блестятъ? Или дѣйствовала такъ новая обстановка, новыя впечатлѣнія, темный вечеръ съ раскрытою на балконъ дверью?

Не могу этого сказать, не знаю. Но, когда я спустилась въ обѣденный залъ отеля, чистая, по-европейски одѣтая и не очень плохая собой, когда сѣла за столикъ съ цвѣтами и вокругъ себя услыхала разноязычный говоръ, мнѣ показалось даже, что пришла часть былого. Да, вѣрно не совсѣмъ умерла еще во мнѣ пѣвица изъ Большого театра.

Я взяла себѣ немного вина, пила кофе, и наблюдала людей. Послѣ обѣда прошла въ гостиныя. Тутъ бѣгали дѣти, въ одной изъ залъ появился фокусникъ во фракѣ, и дѣтвора бросилась занимать мѣста, чтобы получше разсмотрѣть. Слегка задыхаясь, окинула я взоромъ эту ватагу: нѣтъ, Бори тутъ не было. А навѣрно, онъ живетъ съ отцомъ тоже въ какомъ-нибудь шикарномъ отелѣ, такъ же вотъ бѣгаетъ и смотритъ фокусниковъ.

Около девяти, когда я глядѣла, какъ красивая испанка метала маленькій банкъ, лакей подошелъ ко мнѣ, и сказалъ, что меня спрашиваетъ какая-то барышня.

Это была Катя.

Въ Россіи меня везли бы въ каретѣ, а здѣсь мы съ Катей отправились пѣшкомъ по темноватымъ, узкимъ

улочкамъ Нерви. Впрочемъ, и недалеко было. Концертъ долженъ былъ происходить въ лѣтнемъ павильонѣ Pension Suisse. Павильонъ этотъ имѣетъ видъ пагоды, помѣщается въ саду. Странно мнѣ было подходить къ зданію, такъ мало похожему на театръ. Вѣтеръ посвистывалъ въ пальмахъ, магноліяхъ; далеко, въ темнотѣ, шумѣло море.

Когда мы вошли въ артистическую, итальянская пѣвица, съ блестящими глазами и въ большомъ декольтэ, входила съ эстрады подъ плескъ аплодисментовъ. Грудь ея дышала сильно. Въ ней было то знакомое мнѣ наслажденіе успѣхомъ, которое сразу перенесло меня въ Россію, въ Благородное собраніе или Консерваторію. Кланяясь, улыбаясь, она дважды выходила на вызовы.

Я помню, что, когда мнѣ приходилось выступать вотъ такъ, въ каждой пѣвицѣ я видѣла соперницу. Аплодисменты *ей* казались нѣкоторымъ ущербомъ мнѣ. И оттого я всегда волновалась.

Но сегодня этого не было. Я пила кофе, смотрѣла, какъ итальянка взволнованно, счастливо болтала съ рецензентомъ генуэзской газеты — и все это казалось мнѣ туманнымъ, далекимъ, вызывало улыбку. Но это не была насмѣшка. Нѣтъ, другое.

Когда сама я вышла на эстраду, то первое, что увидѣла — фигурку Леечки съ анархистомъ въ проходѣ. Затѣмъ — обычная волна головъ, — волна, передъ которой прежде я трепетала, а теперь на сердцѣ моемъ было легко, просторно и нѣсколько грустно. Я пѣла безъ всякаго усилія, и, какъ мнѣ показалось, не плохо. Были минуты, когда я очень задумывалась сама, и кажется, эти пассажи доходили вѣрнѣй. Вышло странно: оказалось, у меня есть какое-то слово, и я могу обратиться съ нимъ къ этимъ людямъ, и сказать его могу лишь въ пѣніи. За мелодіей, за смысломъ аріи въ моей душѣ звучала иная пѣснь, и мнѣ казалось, что она доходитъ до слушающихъ: моя вечерняя пѣснь, пѣснь прощанія и напутствія. Снова

міръ предо мной раздвигался, и я видѣла не эту лишь залу, сіяющую электричествомъ, — я прижимала къ своему сердцу и лобзала всѣхъ, кто живъ, кто счастливъ и несчастливъ, кто придетъ еще въ жизнь, кто добръ и золъ, чистъ и грѣшенъ.

Мнѣ довольно много аплодировали, но дѣло было не въ аплодисментахъ. Я ощущала свою связь съ людьми. Въ артистическую вбѣжала Леечка, вся раскраснѣвшаяся, съ блестящими глазами.

— Ахъ, какъ вы чудно поете! Это такъ замѣчательно, вы такая прелесть!

И она трясла мнѣ руки, горящими глазами глядѣла на меня.

— Отчего вы никогда не пѣли въ Барассо?

Анархистъ Сеня рѣшительно и нѣсколько трагически поблагодарилъ меня.

Разумѣется, я долго не могла заснуть у себя въ Grand Hôtel'ѣ. Меня волновали сладкія и туманныя чувства. Въ воображеніи вставали картины былого — и странная вещь, сегодняшній вечеръ еще отдалилъ меня отъ этого былого — все дальше уходило оно въ страну воспоминаній. „Такъ истаетъ, и уйдетъ, въ концѣ концовъ, вся жизнь,— думала я, переворачиваясь. — Вся она обратится въ облачко, сольется съ голубымъ эѳиромъ, изъ котораго и возникла."

Съ этими мыслями я заснула, наконецъ, и проснулась поздно. Свѣтло-сиреневое море было видно въ балконную дверь. Голова у меня была ясная, на сердцѣ чувство, что вчера произошло что-то хорошее. И сейчасъ мнѣ по-дѣтски понравилось, что рядомъ съ кроватью телефонъ, и я могу заказать кофе, протянувъ лишь руку.

Такова оказалась моя поѣздка въ Нерви. Я пробыла тамъ два дня, и должна прибавить къ описанному еще двѣ встрѣчи, рѣзко, навсегда запавшія въ мою память.

Передъ вечеромъ я зашла въ одно изъ маленькихъ кафэ, гдѣ бываетъ итальянская мелкота, идутъ споры о чентезимахъ, гдѣ кофе неваженъ, но нѣтъ иностранцевъ.

Зажгли газъ. Я сидѣла у двери, глядѣла на улицу, и вдругъ услышала пѣніе. Пѣлъ женскій голосъ, хорошій, но усталый, какъ бы внутренно надтреснутый.

— Вотъ, — сказала я подошедшему камерьеру: — какъ у васъ въ Италіи поютъ. Точно изъ оперы.

— Это одна старушка. Она дѣйствительно изъ оперы.

Пѣніе кончилось. Въ кафэ, держа за руку старика, вошла старая женщина — нѣкогда извѣстная пѣвица, какъ разсказалъ мнѣ потомъ камерьеръ. Теперь же она зарабатывала хлѣбъ насущный, для себя и слѣпого мужа — пѣніемъ на улицахъ.

Она протянула мнѣ руку за подаяніемъ.

Моя вторая встрѣча — за часъ до отъѣзда домой, въ Барассо.

Я пріѣхала на вокзалъ рано, и мнѣ стало скучно дожидаться поѣзда. Я спустилась внизъ, на знаменитый приморскій променадъ. Это — хорошо устроенная дорожка вдоль моря, съ перилами, скамейками въ мѣстахъ, гдѣ гуляющій долженъ устать. Есть тутъ и кафэ, и входы въ парки отелей. Однимъ словомъ, все очень порядочно, но все же рядомъ море, и оно одно скрашиваетъ всѣ курортныя измышленія.

И вотъ на этомъ променадѣ, въ день 25 февраля, я собственными глазами увидѣла моего сына Борю, послѣ трехъ лѣтъ разлуки.

Я сразу его узнала, хотя онъ сидѣлъ у самаго моря, спиной ко мнѣ, и возился въ пескѣ. Съ нимъ была барышня, гувернантка. Онъ хохоталъ, и по тому, какъ онъ смѣялся, и какъ сидѣлъ на корточкахъ, я сразу, безошибочно поняла,

что это онъ. Я опустилась на скамейку, и припала къ ея спинкѣ. Что я тогда чувствовала? Что мнѣ объ этомъ сказать?

Меня скорѣе поймутъ матери: къ нимъ легче дошелъ бы мой вопль, мое рыданіе, пронзенное такою нѣжностью, что минуту мнѣ казалось — сейчасъ я умру.

Но все это происходило внутри. Я не выдала себя. Я знала, что подойти къ нему, обнять, поцѣловать, сказать, что *мой* онъ — нельзя. Начнется весь прежній ужасъ, весь позоръ. Онъ же счастливъ. Онъ маленькій, онъ меня забылъ.

Да, легко такъ разсуждать, — но тогда мнѣ было нелегко. Все, что потомъ было — какъ я издали его перекрестила, повернулась, пошла къ поѣзду, сѣла въ вагонъ и изъ вагона еще разъ увидѣла его на прибрежьѣ: все это происходило точно и не со мной, а съ какой-то тѣнью, призракомъ.

Но затѣмъ — все это прошло, и я снова очутилась въ Барассо, у синьоры Бокка, и Маріетта попрежнему по утрамъ стала приходить ко мнѣ и спрашивать: „Vuole stufa?“, и мы попрежнему топимъ печку pigne'ами синьора Барбалова, слегка пахнущими ладаномъ.

Впрочемъ, скоро будемъ топить меньше: приближается весна. Больше фіалокъ въ ущельѣ, на Сантъ-Аннѣ зацвѣлъ вересковъ, въ голубоватыхъ даляхъ надъ моремъ появилось что-то волнующее: быть-можетъ, это мы навязываемъ природѣ свои весеннія томленія. Но блѣдно-розовые цвѣты персика и бѣлый миндаль ясно говорятъ о мартѣ. Говорятъ о немъ и весеннія бури; недавно я видѣла поразительную картину. Штормъ при яркомъ солнцѣ. По морю летѣли и кипѣли валы бѣлой пѣны, какъ дикіе снѣжные кони. Въ Сестри пройти было нельзя.

У насъ, въ домѣ Бокка, семейное горе, или семейная радость: Роза сбѣжала таки съ русскимъ.

Похищеніе ея было обставлено романтически, не безъ участія анархиста Сени. Онъ нанялъ въ Кіавари автомобиль (я увѣрена, что въ карманѣ у него при этомъ былъ револьверъ). Роза ждала въ условленномъ мѣстѣ, съ чемоданчикомъ, заранѣе спрятаннымъ въ кусты.

Сеня умчалъ ихъ въ Рапалло, гдѣ они сѣли, наконецъ, въ поѣздъ.

Маріетта очень довольна. Главнымъ образомъ тѣмъ, что Бокка двое сутокъ не вставала съ постели и выла на все побережье.

Сеня съ Леечкой сошлись окончательно — видимо, Александра Николаевна была права, упрекая ихъ за подозрительное посѣщеніе скалъ.

Доходятъ до меня вѣсти и о ней. Какъ слышно, она перестала пить, и снова стала на линію серьезной русской женщины. Кромѣ того, занимается религіозными вопросами, и ходитъ на лекціи популярнаго проповѣдника. Я вспоминаю ея сѣрые глаза и думаю, что недаромъ отецъ ея былъ народникъ-сектантъ.

Я знаю, что изрѣдка мы будемъ съ ней переписываться; потомъ, навѣрно, потеряемъ другъ друга изъ виду. Я отъ души могу пожелать ей доброй, правильной жизни.

Пусть пошлетъ Господь ее и мнѣ.

Поѣздка въ Нерви провела въ моей душѣ новую черту. Мнѣ странно вспоминать теперь былое, такъ оно далеко. Даже мысли о Борѣ рѣже посѣщаютъ меня. Тотъ мальчикъ, котораго я знала и любила, для меня отошелъ въ туманную, какъ бы идеальную страну. Его образъ расплывается, таетъ. Тотъ же юноша, въ котораго черезъ нѣсколько лѣтъ обратится мой сынъ, — будетъ уже инымъ человѣкомъ, уже онъ не взглянетъ на меня, какъ на мать.

Да и трудно ему будетъ признать во мнѣ мать.

Но что бы тамъ ни было, я живу. Я ощущаю даже радость жизни, — она все больше заключается для меня въ

клочкѣ синяго неба, въ фіалкѣ, глазахъ влюбленной дѣвушки, въ бѣлой пѣнѣ моря, въ смѣхѣ ребенка.

Каждый вечеръ, передъ заходомъ солнца, я гуляю по пляжу. Иногда, въ ясные дни, за моремъ вижу снѣжныя Альпы. Я люблю дожидаться скораго поѣзда въ Парижъ, и когда онъ проносится по насыпи, махаю ему платкомъ и говорю: „чау, чау!“ — прощай!

Люблю дожидаться вечерняго звона въ нашей церкви. Я не хожу туда. Моя церковь, мнѣ кажется, весь этотъ міръ. Когда звонятъ въ шесть часовъ къ Ave Maria, а я прогуливаюсь по берегу, и когда я бываю въ серьезномъ настроеніи, я вспоминаю, и какъ бы молюсь за близкихъ, и не очень близкихъ моихъ.

Счастье — даръ Божій. Пусть сойдетъ этотъ даръ на Леечку, Катю, Розу, Маріетту. Я желаю этого и эмигранту, и его дѣтямъ.

Да пошлетъ Господь нетрудной кончины пѣвицѣ, встрѣтившейся мнѣ въ Нерви. Я желала бы, чтобъ тотъ, кто былъ моимъ сыномъ, обратился въ *настоящаго* человѣка.

А когда я возвращаюсь съ этихъ прогулокъ, со многими я кланяюсь, разговариваю. Можетъ-быть, это невѣрно, но мнѣ кажется, что я не уѣду отсюда, что я стала уже частью этого маленькаго селенья, и меня признали здѣсь за свою.

ЕЛИСЕЙСКІЯ ПОЛЯ

Avant le temps tes tempes fleuriront,
De peu de jours ta fin sera bornée,
Avant le soir se clorra ta journée,
Trahis d'espoir tes pensers periront.
P. de Ronsard.

I

Мальчикомъ онъ былъ тихимъ, некрасивымъ и несообразительнымъ. Матери лишился рано. Съ первыхъ лѣтъ жизни привыкъ быть одинъ, и иногда это нравилось ему. Но развивало то, что называютъ мечтательностью.

Его отецъ былъ профессоръ, изучалъ Шекспира, и жилъ на Сивцевомъ Вражкѣ, въ двухъэтажномъ особнякѣ съ садомъ. Отецъ былъ немолодъ, знаменитъ. Домъ ихъ посѣщали почтенные люди.

Онъ ихъ не любилъ. Вообще любилъ онъ мало кого, но ему нравилась гувернантка Маргарита Кирилловна, высокая дѣвушка, игравшая на роялѣ. Отъ рукъ ея пахло духами. У ней были темные, прекрасные глаза.

— Маргарита Кирилловна, — говорилъ онъ ей иногда внизу, въ то время, какъ наверху отецъ изучалъ Шекспира: — сыграйте рапсодію Листа.

Она играла улыбаясь, а онъ подходилъ, прислонялся къ ея плечу и молча смотрѣлъ на длинныя ея руки.

— Нравится? — спрашивала она.

— Очень.

— Ну, идите готовить уроки. Вамъ вредно мечтать.

Она опять посмѣивалась и прибавляла:

— Вы и такъ слишкомъ поэтическій мальчикъ.

Поэтическій мальчикъ уходилъ, а если была весна, шелъ въ небольшой садъ, бродилъ по дорожкамъ, слушалъ

шумъ города и глядѣлъ на звѣзды, о чемъ-то вздыхая. Ему очень нравилась Маргарита Кирилловна, но онъ не зналъ, любитъ ли ее, или это просто такъ.

А она попрежнему учила его нѣмецкому языку, глаза ея попрежнему блестѣли.

Когда ему исполнилось двѣнадцать лѣтъ, и онъ многое уже понималъ, разъ, проснувшись на весенней зарѣ и вскочивъ въ тоскѣ — ему захотѣлось пройтись по саду и помечтать, — онъ встрѣтилъ Маргариту Кирилловну: она выходила въ капотѣ изъ спальни отца.

Онъ и раньше замѣчалъ между ними нѣчто, но теперь понялъ, что любитъ ее. Онъ узналъ объ этомъ довольно поздно и такъ и не успѣлъ ничего сказать Маргаритѣ Кирилловнѣ. Впрочемъ, она скоро уѣхала изъ ихъ дома. Онъ не зналъ, что съ ней сталось; но ея тонкія руки, рапсодію Листа и запахъ духовъ запомнилъ онъ навсегда.

II

Съ шестнадцати лѣтъ онъ началъ писать стихи. Отецъ же хотѣлъ, чтобы онъ сталъ профессоромъ, если можно, такимъ же знаменитымъ, но изучалъ бы ужъ не Шекспира, а, скажемъ, Лопе-де-Вегу.

И онъ сдѣлался филологомъ, не проявивъ талантовъ отца: въ университетѣ удивлялись, что сынъ такого замѣчательнаго человѣка — ниже средняго студента. И такъ какъ онъ былъ нелюдимъ и скрытенъ, мало кто его любилъ.

Отцу осталось установить лишь мелочи о предшественникахъ Шекспира, когда внезапно онъ умеръ, — какъ Флоберъ, — переходя отъ дивана къ письменному столу.

Сына мало поразила эта смерть. Онъ остался одинъ, съ кое-какими средствами.

Онъ рѣшилъ, что отдастъ себя литературѣ. Первое, что онъ сдѣлалъ — переѣхалъ изъ дома на Сивцевомъ Вражкѣ въ комнатку у Собачьей Площадки.

Здѣсь онъ прожилъ три года, нося студенческую тужурку, и въ минуты тоски упражняясь въ стихахъ и прозѣ. Но ни стиховъ его, ни прозы никто не печаталъ.

Къ концу третьяго года одинокой жизни онъ влюбился въ пѣвицу. Онъ встрѣчался съ ней на журфиксахъ у знакомыхъ еще по отцу, молчалъ, краснѣлъ, блѣднѣлъ и замиралъ отъ ея жгучихъ глазъ. Онъ ходилъ въ оперу, и ходилъ безцѣльно по улицамъ Москвы, надѣясь встрѣтить ее. Сидѣлъ въ кафэ — и тоже надѣялся встрѣтить.

На Страстной она уѣхала въ Крымъ, онъ отправился за ней, черезъ два дня. Онъ зналъ, что она ѣдетъ съ милліонеромъ, влюбленнымъ въ нее, на Бахчисарай и Ялту. Онъ тоже поѣхалъ на Бахчисарай, и видѣлъ тамъ золотыхъ пчелъ среди цвѣтущихъ персиковъ и бѣлыхъ памятниковъ татарскаго кладбища. Но ея уже не засталъ. Онъ нанялъ лошадей въ Ялту, и съ высотъ Ай-Петри, въ снѣжной мятели смотрѣлъ, какъ голубѣетъ тихое море и освѣщенная солнцемъ лежитъ внизу Ялта. Отъ холода онъ выпилъ водки, и когда спускался въ экипажѣ внизъ, сердце его было размягчено, ему казалось, что сіяющая внизу Ялта — это видѣніе счастья, тишины.

Онъ пробылъ въ Ялтѣ нѣсколько дней и всего разъ видѣлъ пѣвицу. Онъ принесъ ей въ отель букетъ цвѣтовъ и думалъ, что теперь-то и начнется настоящее, но ошибся: на другой день милліонеръ увезъ ее въ Одессу, а оттуда въ Константинополь, гдѣ они надѣялись встрѣтить Свѣтлое Воскресеніе.

Онъ не могъ ѣхать за ней въ Константинополь, и смотрѣлъ лишь утромъ, какъ по сиреневому морю чертилъ струю пароходъ, уходя къ Одессѣ.

Послѣ Константинополя пѣвица вышла замужъ и перешла въ другое общество, куда доступа онъ не имѣлъ, да и попасть не стремился. Прошло время, и она ушла такъ же, какъ дѣтство, мать, Маргарита Кирилловна.

III

Онъ же, ясное дѣло, сталъ писателемъ. Съ Собачьей Площадки переѣхалъ на Тверскую, въ меблированныя комнаты.

Писалъ онъ сначала въ общепринятомъ духѣ, и его три разсказа были напечатаны въ почтенномъ журналѣ. Потомъ перешелъ къ новой школѣ, и тогда почтенные люди перестали его печатать, ибо онъ сталъ писать лучше. А молодые, непочтенные, тоже печатали неохотно, такъ какъ не былъ онъ талантливъ: его считали посредственностью.

Самъ онъ зналъ это, но надѣялся, что быть-можетъ — выпишется. А отчасти было обидно: у него есть фантазія, печаль, способность чувствовать — и большое желаніе работать. Онъ становился еще одиноче, сумрачнѣй и замкнутѣй.

Жилъ онъ одинъ, утромъ писалъ, читалъ, ходилъ по бульварамъ и боялся вечеровъ. Сталъ онъ извѣстенъ въ нѣсколькихъ кафэ, ресторанахъ. Но продолжалъ быть непредставительнымъ и незамѣтнымъ, и среди лакеевъ не пользовался популярностью.

Въ кафэ его не знали какъ поэта. Книжекъ его вообще никто не читалъ — ни стиховъ, ни разсказовъ. Рѣдко упоминали въ газетахъ его имя. Онъ переѣхалъ съ Тверской на Кисловку, съ Кисловки на Арбатъ, потомъ опять на Тверскую, годы шли, и попрежнему онъ ютился въ нижнемъ этажѣ маленькихъ газетъ, и попрежнему говорили о немъ, что новой дорожки въ искусствѣ онъ не проложитъ: идетъ за болѣе сильными.

Годы шли все скорѣй, и онъ не замѣтилъ, какъ стукнуло ему сорокъ. Этотъ годъ былъ замѣчателенъ для него тѣмъ, что вдругъ ему улыбнулась удача: появилось сразу нѣсколько статей о его книжкѣ, и на одномъ вечерѣ, гдѣ онъ читалъ, дѣвушки поднесли ему цвѣты. Онъ поблаго-

дарилъ и чуть не заплакалъ. Онъ былъ еще болѣе пораженъ, когда съ этого вечера съ нимъ завязала знакомство молоденькая курсистка, лѣтъ восемнадцати, съ быстрыми глазами и чудеснымъ румянцемъ.

Отъ всего этого на него пахнуло чѣмъ-то далекимъ, забытымъ. Онъ вспомнилъ Маргариту Кирилловну, пѣвицу. Въ сердцѣ его появились нѣжность и умиленіе. Они ходили съ ней вмѣстѣ на выставки, ѣздили въ Петровскій паркъ. Онъ любилъ навѣщать ее въ маленькой, дѣвичьей комнаткѣ на Молчановкѣ; это напоминало ему молодость, и охотно прощалъ онъ ей открытки съ Беклиномъ. Весной онъ дошелъ до такой сантиментальности, что ѣздилъ съ ней на Воробьевы горы въ лодкѣ, и въ Царицыно. Въ Царицынѣ они однажды встрѣтили восходъ солнца, и онъ поцѣловалъ ее. Она какъ-то смутилась, но не протестовала. Онъ же, хотя и думалъ, что не безразличенъ ей, — все же стѣснялся своихъ лѣтъ, и того, что некрасивъ и не знаменитъ.

На лѣто она уѣзжала къ теткѣ, въ Тамбовскую губернію, и изъ ея словъ при отъѣздѣ онъ понялъ, что осенью они встрѣтятся какъ женихъ и невѣста.

Онъ остался ждать ее и рѣшилъ никуда изъ Москвы не уѣзжать. Онъ жилъ въ это время въ седьмомъ этажѣ дома въ Благовѣщенскомъ переулкѣ, откуда видна была вся Москва и окрестности. Онъ мечталъ, сидя на балконѣ по вечерамъ и глядя на ласточекъ, на далекую церковь села Коломенскаго и на дымокъ курьерскаго поѣзда — онъ мечталъ, какъ повезетъ ее за границу, и какъ жизнь его приметъ новый, благородный и прекрасный оттѣнокъ. Онъ писалъ ей письма, цѣловалъ ихъ, и нерѣдко смотрѣлъ въ бинокль въ ту сторону, гдѣ была Тамбовская губернія.

Но изъ Тамбовской губерніи вѣсти шли скупѣе и скупѣе, и въ іюлѣ совсѣмъ прекратились. Онъ телеграфировалъ, цѣлыми часами сидѣлъ на балконѣ, и мокрыми отъ слезъ глазами смотрѣлъ въ бинокль.

Такъ онъ жилъ, мечталъ, волновался до августа, когда она вернулась — невѣстой студента технолога, съ которымъ познакомилась у тетушки.

IV

Онъ посѣдѣлъ, постарѣлъ и осунулся. Мало желаній волновало его. Онъ прочелъ уже лучшія книги, видѣлъ лучшія страны, статуи, и окончательно узналъ, что слава не придетъ къ нему. Это его не удивляло. На десятокъ подававшихъ надежды выдвигался одинъ. И уже нѣкоторые изъ знакомыхъ и товарищей по литературѣ, по молодости, уходили — туда, въ царство тѣней, или свѣта, о которомъ до сихъ поръ онъ не успѣлъ составить себѣ представленія.

Съ каждымъ годомъ чувствовалъ онъ сильнѣе быстролетность жизни, каждый годъ отъединялъ его отъ былого, и все рѣже, рѣже завязывалъ онъ новыя знакомства. Избѣгалъ вспоминать объ отцѣ, дѣтствѣ, Маргаритѣ Кирилловнѣ. Въ оперу не ходилъ и не выступалъ болѣе на литературныхъ чтеніяхъ. Лишь привычка къ кафэ осталась прежняя. Онъ ходилъ туда въ черномъ сюртукѣ, крылаткѣ и широкополой шляпѣ.

Какъ отецъ, какъ Флоберъ, онъ умеръ отъ разрыва сердца, вставъ къ столу, чтобы поправить корректуру.

Его хоронило литературное общество. Старый товарищъ принесъ ему и положилъ въ гробу на лобъ маленькій лавровый вѣнокъ, но у покойнаго былъ такой видъ, что теперь это нѣсколько поздно.

Вѣроятно, царство тѣней, къ которому всю жизнь летѣлъ онъ, было теперь для него раскрыто. И онъ оставлялъ насъ — всѣхъ, кто, быть-можетъ, зналъ его и любилъ — летѣть, какъ и онъ, сквозь тусклые дни, къ этой туманной и зыбкой странѣ.

ГРѢХЪ

I

Мнѣ исполнилось девятнадцать, когда я попалъ оффиціантомъ въ кафэ „Оріенталь.“ Я былъ здоровъ, горячъ, службу свою ненавидѣлъ; да и трудно мнѣ было любить ее: все-таки, я учился кое-чему въ дѣтствѣ, пока живъ былъ отецъ и мы не бѣдствовали — и могъ бы заняться чѣмъ получше, да ужъ такъ вышло, что съ тринадцати лѣтъ долженъ былъ зарабатывать, проходить черезъ огонь и воду.

Заведеніе наше было не совсѣмъ обыкновенное—американскаго рода. На хорахъ — небольшой оркестръ. У прилавка, гдѣ по вечерамъ крѣпкіе напитки продаютъ, стулья высокіе, и называлось это по-иностранному баръ, а проще говоря, на этихъ стульяхъ молодые люди по ночамъ черезъ соломинки тянули пьяные составы: шеррикоблеръ, дринкъ локомотивъ и другіе.

Съ двѣнадцати ночи — а торговали до четырехъ — всѣ ужъ пьяны. Дѣвицъ обнимаютъ, ругаются. Два раза въ недѣлю скандалы обязательно, протоколы, выводимъ.

Ну, и публика жъ у насъ была! И карманники, и коты, супники, и еще особенные — надушены, подкрашены, какъ женщины.

Мнѣ, конечно, очень было противно служить среди этой сволочи — но что подѣлать, надо чѣмъ-нибудь существовать. А разбогатѣть трудно. Правда, одинъ случай представлялся, въ нашемъ же вертепѣ, но какой!

Ходилъ къ намъ пожилой господинъ, кажется, извѣстный въ Москвѣ человѣкъ, и сталъ ко мнѣ все при-

сматриваться. Я замѣчаю, — онъ странно какъ-то на меня глядитъ, но хорошенько въ толкъ взять не могу. На чай даетъ сверхъ мѣры, даже товарищамъ неловко показывать. И вотъ однажды спрашиваетъ меня: не хочу ли къ нему въ камердинеры поступить. (Господинъ очень приличный, я даже удивлялся, зачѣмъ онъ къ намъ ходитъ).

Жалованье, говоритъ, сто рублей въ мѣсяцъ. Я опять не понялъ, а разсказалъ оффиціантамъ нашимъ — меня на смѣхъ подняли. Врешь, молъ, гдѣ это видано, чтобы лакею сто цѣлковыхъ платили? А одинъ былъ, Осипъ Андреевичъ, старый, опытный человѣкъ, онъ меня отвелъ въ сторонку и, пенснэ свое снявъ, говоритъ: „онъ, Николай, тебя для особенныхъ надобностей нанимаетъ. Человѣкъ онъ богатый, развращенный, можешь и больше заработать, только подумай, прежде чѣмъ къ нему поступать.“ У меня глаза и раскрылись. Такъ я обозлился, что совсѣмъ пересталъ этому господину заказы подавать; онъ скоро отъ насъ и вовсе куда-то пропалъ.

Я же около этого времени познакомился ближе съ кассиршей нашей, Ольгой Ивановной. И сказать короче — сошелся съ ней.

Эта Ольга Ивановна была дѣвушка маленькая, востренькая и ловкая. Могла и веселой быть, и нѣжной, и злой. Всего вѣрнѣй — холодный она была человѣкъ, и очень ей хотѣлось — больше, чѣмъ мнѣ, въ люди выбиться. Почему со мной именно сошлась? Этого точно не знаю. Можетъ, чѣмъ-то я ей особенно нравился, — очень она была сластолюбива. Трудно мнѣ говорить о нашей любви, потому, настоящей любви между нами и не было.

Когда одни оставались, и разговоръ заходилъ, всегда почти на деньги съѣзжали: какъ кто зарабатываетъ, да сколько. Любила она въ газетахъ читать отдѣлъ преступленій всякихъ, мошенничествъ. Меня тоже это стало занимать. Помню, я разъ ей сказалъ, что мнѣ богатый баринъ службу у себя предлагалъ, и какую службу. Она на меня

поглядѣла, ротикъ свой маленькій сердечкомъ сложила и говоритъ.

— Зачѣмъ же ты отказался?

Я обозлился.

— Да ты понимаешь, въ чемъ дѣло-то?

Она опять гримаску дѣлаетъ, что, молъ, дураку долго разсказывать.

— Если бы ты умный былъ, такъ не сто, а сколько бъ захотѣлъ взялъ. Не сталъ бы платить, ты бы пригрозилъ.

Вотъ она что надумала! Холодная была женщина. Чтобъ я вымогательствомъ занялся! Такъ. Нѣтъ, это для насъ неподходяще.

— Умные люди, бывало она говоритъ, себѣ хорошую жизнь стараются устроить. А мы съ тобой здѣсь только молодость нашу губимъ.

Оно отчасти вѣрно.

Пробовали мы на бѣгахъ играть, жучекъ одинъ знакомый былъ, въ кофейню ходилъ: не повезло.

Поутру, когда мало еще посѣтителей, раскроетъ Ольга Ивановна газету, даже поблѣднѣетъ отъ волненія.

— Въ Лодзи кассиръ пятьдесятъ тысячъ хапнулъ, и за границу скрылся!

А я отвѣчаю, и самого это волнуетъ:

— Поймаютъ, небось.

Она на меня посмотритъ, губки свои скривитъ, отложитъ газету.

— Его, можетъ-быть, и не поймаютъ.

Пожалуй, и отъ газетъ, да и случай представился, только разъ она мнѣ говоритъ:

— Мнѣ надоѣло тутъ сдачу считать. Меня тетушка Аѳиса Семеновна на другое мѣсто опредѣляетъ, я тамъ лучше здѣшняго заработаю.

Я удивился, что вдругъ за мѣсто, да и объ Аѳисѣ Семеновнѣ мнѣніе имѣлъ дурное — вредная была старуха, въ родѣ сводни, и по словамъ Ольги Ивановны самой же

— она ее еще съ дѣтскихъ лѣтъ продавать пыталась. (Да и пыталась ли только?)

Ольга Ивановна, все же, отъ насъ ушла, и я одинъ остался въ вертепѣ. Сначала мы видались кое-гдѣ, по дешевенькимъ номерамъ, а потомъ, когда она обжилась, я сталъ къ ней ходить подъ видомъ бѣднаго родственника. Да очень и притворяться намъ не приходилось, — никто за нами не слѣдилъ.

Ольга Ивановна была въ родѣ лектрисы, или сидѣлки при больномъ старикѣ, извѣстнѣйшемъ и богатѣйшемъ адвокатѣ. Домъ его около Кудрина былъ, на Садовой, особнякъ съ садомъ. У Ольги Ивановны отдѣльная комнатка. Кромѣ нея, жилъ старый лакей, кухарка, да двѣ горничныхъ. Ольга Ивановна сильно перемѣнилась, какъ сюда попала. По другому стала одѣваться, причесываться, совсѣмъ обратилась въ скромную барышню. И держала себя иначе. Посмотришь на нее — невинность, подумаешь, и трудно себѣ представить, какъ она сластолюбива была.

Попривыкнувъ къ дому, мы осмѣлѣли такъ, что я ночевать у ней оставался, и хоть большую часть ночи она сидѣла со старикомъ (фамилія его была Ѳаддеевъ, онъ не спалъ по ночамъ), — но забѣгала и ко мнѣ, и если бъ Ѳаддеевъ зналъ объ этомъ, врядъ ли былъ бы радъ.

Надо сказать, многимъ дурнымъ обязанъ я Ольгѣ Ивановнѣ: все, что во мнѣ было сквернаго, она распаляла безъ устали. И до того иногда доводила — до ярости какой-то, а ей это какъ разъ и нравилось. Цѣлуешь ее, укусить хочется, или руками такъ въ горло вцѣпиться, чтобы въ судорогахъ забилась. Даже самъ я въ себѣ этого боялся.

Робкимъ я никогда не былъ, а тутъ сталъ развязнѣй, дерзче, голову какъ-то поднялъ, и всѣ ея слова, что деньги, тамъ, самое первое, и все на нихъ можно купить, — это я быстро перенялъ, и служба меня день ото дня больше досадовала. Мнѣ на бѣгахъ играть хотѣлось, ходить въ штатскомъ, въ котелкѣ, съ женщинами имѣть дѣло и самому

по кофейнямъ сидѣть, а не то, чтобы въ нихъ прислуживать.

Скоро такъ почти что и вышло: въ нашемъ заведеніи со мной случилась исторія.

Какъ и раньше говорилъ, сталъ я послѣднее время дерзче. Такъ-то говоря, наша жизнь оффиціантская не изъ легкихъ. Не то что у насъ, а и въ первомъ въ Москвѣ ресторанѣ случаи бывали, что метрдотель человѣку въ посудной въ физіономію заѣзжалъ. У насъ тоже обращеніе было грубое, на ты, и прежде я это сносилъ, а теперь сдѣлалось труднѣе. А тутъ къ намъ распорядитель новый, за пустякъ всякій штрафуетъ, оретъ, силъ никакихъ нѣту. Терпѣли мы терпѣли, и рѣшили съ Сенькой Аносовымъ — тоже малый былъ молодой и горячій — пакость ему подложить.

И какъ онъ шелъ, въ коридорѣ, незамѣтнымъ образомъ ему фалды фрака кислотой облили. Оно сначала невидно, а потомъ цѣлые куски вывалились — фракъ пропалъ.

Обозлился онъ, какъ звѣрь, и донесли ль ему, или самъ догадался, только сразу же на меня подумалъ.

Вызываетъ меня къ себѣ, самъ сдержаться старается, а глаза блестятъ, и грудь сильно подымается.

— Ты, говоритъ, это?

— Нѣтъ, отвѣчаю: не я. А жаль, что не я.

Самъ поднялъ на него глаза и вижу, не держитъ онъ себя — только я назадъ попятился — онъ со всего маху мнѣ по физіономіи. Не такъ попалъ, какъ цѣлилъ, а все же задѣлъ сильно, хорошо еще, что не кулакомъ билъ, а ладонью, чтобы поскандальнѣй вышло. Такъ. Помню я, что за нимъ сзади входъ былъ, въ мужскую уборную. И какъ напередъ я зналъ, такъ и сдѣлалъ: кулакомъ ему въ животъ, потомъ обернулъ, колѣномъ подъ задъ, и прямо головой въ эту самую дверцу. Она, конечно, отворилась, а я ужъ ничего не помню, не въ себѣ, значитъ, вотъ сейчасъ сердце разорвется — верхомъ на него вскочилъ, повалилъ

и билъ жестоко, но недолго, пока во мнѣ это самое бѣшенство все не вышло.

По счастью, ничего у меня въ рукѣ не было, а то бъ я, понятно, его убилъ — такой ужъ у меня нравъ, къ гнѣву и вспыльчивости склонный.

Случись тутъ, что какъ разъ господинъ Ѳаддеевъ увольнилъ своего человѣка, Петра. А жилъ онъ у него долго, только Ольгѣ Ивановнѣ неподходящій былъ, она противъ него штуку и подвела, будто онъ портсигаръ бариновъ золотой стащилъ.

Я мѣста лишился, конечно, и она меня вмѣсто него подсунула. Я тогда не очень понималъ, для чего она старается, — думалъ, просто ко мнѣ изъ сочувствія, что я ея полюбовникъ. А у ней были свои планы.

Въ домѣ господина Ѳаддеева, какъ меня Ольга Ивановна научила, сталъ я сразу скроменъ и приличенъ (она старика увѣрила, что я ее двоюродный братъ). Левъ же Кирилловичъ Ѳаддеевъ былъ человѣкъ крупный, сѣдой, ротъ у него неправильный, длинный, и лицо будто перекошенное, но глаза очень умные.

Его параличъ порядочно хватилъ, а теперь немного полегчало, и онъ говорить ужъ могъ, но съ постели не вставалъ, и внимательно въ меня все всматривался. Видно — большой былъ раньше баринъ, и бабникъ, это я замѣтилъ, какъ онъ на Ольгу Ивановну поглядывалъ, да навѣрно, и параличъ у него на этомъ самомъ дѣлѣ произошелъ.

Меня онъ быстро не взлюбилъ. За что, не знаю. Грубаго мнѣ ничего не говорилъ, а только я понялъ, что онъ меня презираетъ, какъ хама.

Помню, онъ разъ при мнѣ Ольгу Ивановну спросилъ:

— А что вашъ кузенъ по-французски понимаетъ? — и закрылъ глаза.

Ольга Ивановна, понятно, отвѣтила, что нѣтъ. Ишь какого себѣ лакея захотѣлъ — съ французскимъ языкомъ!

Другой разъ я ему газету подавалъ, и про нормальный отдыхъ приказчиковъ заикнулся, — я объ этомъ въ газетѣ же и прочелъ.

Онъ прищурился, и вяло такъ, кисло цѣдитъ:

— А вы знаете, что значитъ слово нормальный?

Я отвѣчаю, что такой, молъ, какой надо. Онъ поковырялъ въ зубу зубочисткой, и рыгнулъ, но не такъ, какъ у насъ рыгаютъ, у смердовъ, а видно, что это барскій плохой желудокъ.

— Необразованные люди часто употребляютъ слова, которыхъ не понимаютъ.

И съ этой зубочисткой въ рукѣ, будто и говоритъ ему лѣнь, въ десяти словахъ все объяснилъ, точно на судѣ рѣчь держитъ. Тутъ и я къ нему ненависть возымѣлъ. Только онъ кончилъ, я передъ нимъ довольно дерзко вытянулся.

— Слушаю-съ, баринъ, постараюсь запомнить.

Такъ, что мнѣ потомъ даже Ольга Ивановна внушеніе сдѣлала. „Все испортишь,“ — сказала. — „А можемъ хорошее дѣло сдѣлать,“ — и улыбнулась, губки свои, по обыкновенію, скривила. Какъ она сказала „дѣло сдѣлаемъ“ — по мнѣ въ родѣ озноба прошло, и самъ не знаю, какое дѣло, а только волосы похолодѣли, будто меня ожидаетъ очень занятное, и опасное. Надо сказать, загадочный человѣкъ была Ольга Ивановна. Вотъ ужъ правда, коли есть на свѣтѣ бѣсы, то около нея ужъ навѣрно гнѣздились.

Самъ я въ то время очень отошелъ отъ раннихъ своихъ лѣтъ, когда мы съ мамашей въ церковь ходили и всенощную слушали. Очень я огрубѣлъ, обнаглѣлъ. Съ одобренія Ольги Ивановны сталъ кой-чѣмъ промышлять: опять на бѣгахъ принялся играть, съ наѣзникомъ однимъ познакомился. Служба моя при Львѣ Кириллычѣ пустяковая была, и, можно сказать, мы съ Ольгой Ивановной всѣмъ домомъ правили: эти отлучки мнѣ легко сходили.

Иногда я и въ клубѣ въ карты игралъ — везло. Раза два, когда трудно приходилось, я такія штуки дѣлалъ: говорю знакомому — ставлю пятерку, въ долю. А самъ къ дверямъ, пятерку же не кладу. Выигрываемъ — беру десять, будто правда мои деньги стояли, а нѣтъ — меня и въ комнатѣ ужъ нѣтъ. До свиданія!

Такимъ манеромъ наигралъ я за годъ рублей шестьсотъ, и половину, по совѣту Ольги Ивановны, держалъ на сберегательной книжкѣ. На другую часть — рискнулъ, на биржѣ сыгралъ. Опять удача — двѣсти заработалъ. Тутъ я себѣ новый костюмъ сшилъ, завелъ котелокъ, перчатки, и на улицѣ выглядѣлъ настоящимъ молодымъ человѣкомъ.

Ольга Ивановна тоже не промахъ была, и когда мы съ ней ходили къ Коршу, или въ фарсъ, то насъ никакъ нельзя было принять за лакея и экономку.

Но съ нѣкотораго времени сталъ я замѣчать въ ней странности. Хотя мы жили бокъ о бокъ, и скрываться другъ отъ друга было трудно, однако, она что-то скрывала. Куда-то ходила, какія-то дѣла завела, я это понималъ, но не могъ въ толкъ взять, что именно.

И со Львомъ Кириллычемъ стала она разныя умности заводить, а маленькимъ ротикомъ (я тогда очень догадался, что она на звѣрка хищнаго похожа была, — скажемъ, на ласку) — такъ и сыплетъ о пролетаріатѣ, классовой борьбѣ, революціи — и откуда она всего этого нахваталась? Я слова-то эти въ первый разъ слышалъ, а она такъ и чешетъ. Даже Левъ Кириллычъ изумлялся, но и ему лестно было, что вотъ у него для разныхъ услугъ женщина, а съ ней о серьезномъ можно поговорить.

Лежитъ, бывало, рыгаетъ, зубочисткой во рту разрабатываетъ, и тянетъ, тянетъ: это, молъ, все бредни, если такъ жизнь устроить, казармы получатся, никто работать не захочетъ, потому что богатымъ нельзя будетъ сдѣлаться. А я слушаю его, и думаю: хорошо болтать, всю жизнь

шампанское да устрицы пролопавши, а можетъ въ нашей шкурѣ запѣлъ бы другое. Но думалъ я такъ единственно по ненависти къ его важному виду, а не потому, чтобы я самъ этими дѣлами былъ занятъ. Самъ-то я какъ разъ такимъ Львомъ Кириллычемъ и хотѣлъ бы стать.

А Ольга Ивановна и меня удивляла. Зачѣмъ ей все это нужно? Неужто жъ она собиралась обездоленнымъ и трудящимся помогать? Ужъ очень это ея физіономіи, какъ сказать, не подходило. Повѣрить въ это очень было трудно: я пробовалъ съ ней заговаривать — безплодно. „Оставь, отвѣчаетъ, это мои дѣла. Я тебѣ не мѣшаю, какъ ты на бѣгахъ, да по притонамъ въ карты играешь — ты меня не трогай.“ Больше ничего не добился, а только понялъ, что знакомства у ней новыя завелись, и она дѣла обдѣлываетъ, надѣясь отъ нихъ имѣть выгоду.

Съ тѣмъ я и отошелъ, но на душѣ у меня было непокойно. Самъ я жилъ не ахти какъ, и съ дѣвчонками путался, — одна даже меня полюбила и супникомъ быть предлагала, да я не пошелъ, гордость, вѣрно, мужская мѣшала. Значитъ, и самъ-то я былъ финтифлю съ малиной, а все жъ насчетъ Ольги Ивановны тяжелыя у меня были опасенія, и я ждалъ чего-то мерзкаго.

Напримѣръ, помню разъ, въ Ружейномъ переулкѣ встрѣтилъ я ее съ человѣкомъ, — она меня не видала, а я личность эту очень замѣтилъ, потому его еще по кофейной зналъ: съ усами завитыми, въ охранномъ отдѣленіи служилъ. Что такое, думаю, откуда у ней знакомство такое? А она меня же на смѣхъ подняла: эхъ, ты, умная голова, думаешь, ты одинъ его по кофейной знаешь? А другимъ нельзя съ нимъ знакомыми быть? Онъ для моихъ дѣлъ нуженъ.

Только это не все. Разъ еще случилось въ клубѣ — да какой это клубъ? Такъ, притонъ для всякой шушеры — случилось въ третьемъ часу ночи, встрѣчаю я этого человѣка, онъ сильно выпивши, ко мнѣ спиной за столикомъ

сидѣлъ — другому, тоже, видно, изъ этой компаніи и говоритъ: „А малявка-то наша разработалась! Ловкая бабенка.“ „Это что въ кассиршахъ служила?“ „Да, сперва стѣснялась, путала, а теперь обошлась совсѣмъ.“

Тутъ вдругъ на меня нашла тоска. Больше я отъ нихъ ничего не слышалъ, а такъ сумно у меня на сердцѣ сдѣлалось, что просто хоть бросай все да домой убирайся. Вышелъ я изъ клуба, иду пѣшкомъ, тихо было, звѣзды, на бульварахъ уже никого. Помню, мнѣ хотѣлось тогда далеко уйти за городъ, и забыть все.

Понятно, Ольга Ивановна мнѣ ни въ чемъ не открылась; все жъ встревожилась. И съ этого самаго времени — случайно это или нѣтъ, не знаю, — она стала мѣняться, и даже очень. Со Львомъ Кириллычемъ сдѣлалась рѣзче, и со мной, и чаще у ней голова болитъ, похудѣла, — вижу, безпокоится, что-то скрываетъ. Только иногда скажетъ: „Ты безсердечный человѣкъ, Николай, тебѣ только бы за женщинами бѣгать, а кто съ тобой рядомъ, это тебѣ все равно. И почему-то особенно женщинами стала укорять. Я и такъ и сякъ, отчего мнѣ ничего не скажешь, — она одно твердитъ — не твое дѣло, да разныя непріятности у ней, сплетни про нее распускаютъ, а больше ничего. Но, между прочимъ, я замѣтилъ, что службой у Льва Кириллыча она стала пренебрегать, и денегъ у ней появилось больше, и даже, какъ и я, она завела себѣ отдѣльную книжку. На ней тоже нѣсколько сотъ лежало. Такъ что, какъ я понималъ уже довольно давно, эти дѣла ей небезвыгодны были.

Подошло лѣто, и понятно, никуда мы изъ Москвы выѣхать не могли, а сидѣли на своей Садовой у Кудрина, да смотрѣли, какъ деревья распускаются. Правда, при нашемъ особнякѣ былъ отличный садъ, и выходилъ почти что къ Вдовьему дому. Льва Кириллыча вывозили въ креслѣ; я его каталъ по дорожкамъ, а онъ на все смотрѣлъ брезгливо, и на сольнышко, и на зелень свѣжую, и

какъ пролетки въ Москвѣ гремѣли ему не нравилось, какъ-будто даже обижало. Только разъ, помню, молчалъ онъ, молчалъ (со мной вообще рѣдко разговаривалъ, не снисходилъ), — да вдругъ и говоритъ:

— Вы меня возите по этой дурацкой Москвѣ, а порядочные люди теперь за границей, на морѣ... Впрочемъ, вамъ все равно за границей не бывать, такъ и мнѣ, нечего, значитъ, и разговаривать.

Конечно, я никогда раньше о заграницѣ не думалъ, и къ моему лакейскому положенію это весьма мало подходило, но въ послѣднее время Ольга Ивановна стала дѣлать мнѣ намеки, и опять я не понималъ, къ чему это. Такіе намеки, что, можетъ, намъ придется изъ Москвы уѣхать и очень далеко, и будто бы это гораздо лучше, чѣмъ здѣсь оставаться. Меня это сбивало, а впрочемъ, я вдругъ на все махнулъ рукой, и такъ мнѣ казалось: ладно, что-то съ ней дѣлается, а что, мнѣ все равно.

И я попрежнему на бѣга ѣздилъ въ новомъ костюмчикѣ, въ соломенной шляпѣ. Два раза въ Царицынѣ былъ, пилъ пиво въ лѣтнемъ саду и интрижку завелъ съ тамошней дѣвицей. И, конечно, чему быть, того не миновать, и какъ я ни хорохорился, не миновали мы съ Ольгой Ивановной, что намъ назначено было.

Помню, поѣхалъ я на бѣга, и на извозчикѣ развернулъ газетный листокъ, — попалось мнѣ имя „Ласточка.“ Хоть я лошадей уже зналъ, рѣшилъ почему то на „Ласточку“ эту ставить, — лошадка темная, зато много могутъ выдать. Только ввалился, двѣ минуты осталось до заѣзда, беру билетъ, въ ординарѣ. Даже дураку ясно, первымъ долженъ быть „Князь Игорь.“ На прямой шина лопается, сбой. Стала „Ласточка“ съ „Мамзелью“ рѣзаться, и на полголовы у бесѣдки ее обошла. Я взялъ триста.

Обѣдалъ, понятно, у Яра, потомъ въ Акваріумъ, вернулся домой въ третьемъ часу — свѣтать начинало. Такъ. Понятно, выпивши, думаю, Ольга Ивановна сейчасъ меня

точить начнетъ. Вхожу я въ нашу комнату, она на постели сидитъ, вся синяя, виски себѣ руками жметъ. „Что ты?“ спрашиваю. „Больна?“ Молчитъ. „Да что съ тобой, случилось, чтоли?“ Опять молчитъ, только письмецо мнѣ подаетъ. Что за дьяволъ такой, думаю? И что жъ въ этомъ письмецѣ написано: что вотъ ей, Ольгѣ Ивановнѣ такой-то, объявляется партіей смертный приговоръ. Я на дыбы. Какой партіей? За какія провинности?

— Я, отвѣчаетъ, тебѣ этого раньше сказать не могла — и легла ничкомъ на постель, уши руками прикрыла, точно я ее бить собирался.

Потомъ стала плакать, и меня упрекать, что я ее не люблю, по женщинамъ бѣгаю, одну оставлю, а ее всѣ обижаютъ. Нѣтъ, думаю, погоди. Сѣлъ я къ ней на постель, ноги дрожатъ, погоди, думаю: все узнаю.

— За что жъ убить тебя грозятся?

— За то, за то... — вдругъ она вскочила, и глаза у ней засверкали, какъ у дикаго хоря: вышло бы, — богатыми бъ были, за то, что я ихъ кругомъ пальца вотъ какъ обертывала, а они думали, я ихняя!

И опять она распалилась, что дѣло у ней сорвалось, и со злобой, съ сатанинской яростью все мнѣ выложила: что правда, втерлась она въ партію къ политическимъ, и въ охранное отдѣленіе поступила, и все въ гору шла, народу порядочно повыдала, къ осени повышеніе должна была получить, а теперь все пропало, потому что узнали. И опять она въ отчаянье впала, что вотъ ее не сегодня, завтра убьютъ. Охъ, и ночь же эта была!

Хоть никогда я Ольгу Ивановну душевной любовью, съ уваженіемъ, съ жалѣніемъ не любилъ, но когда она мнѣ это разсказала, прямо скажу: бездна у меня подъ ногами развернлась.

Чтобы съ Іудой предателемъ въ одной постели спать, этого я никогда не ждалъ. Но тутъ-то и началось. Она это сейчасъ же поняла, а какъ была женщина цѣпкая, то меня

выпускать ей совсѣмъ не подходило. Сначала она мнѣ въ ноги, чтобы ее убить будто, и потомъ ползала какъ гадъ, руки цѣловала, а потомъ еще лучше устроила — женскую свою силу противъ меня пустила, — и какъ была разгорячена, да и я взбудораженъ, то ей это очень даже удалось. И въ этомъ самомъ дѣлѣ топили мы оба себя, какъ въ винѣ, —она позоръ свой и страхъ, я—смятеніе и гордость, остатки, что во мнѣ было еще человѣческаго. Понималъ я, тутъ моя гибель настоящая начинается. И точно провалился куда — заснулъ.

А проснулся другимъ человѣкомъ. Ольга Ивановна опять вкругъ меня хлопотала: дѣловитая была женщина, и на личикѣ ея миловидномъ опять заботы были, такъ и кипѣло, и варилось въ ней опять — что вотъ, молъ, надо какъ-нибудь вывертываться. А я, напротивъ, совсѣмъ воли лишился. Точно рыба на берегу: треплю хвостомъ, а дышать нечѣмъ, и все равно, съ мѣста не сдвинешься.

Въ этотъ день я совсѣмъ Льва Кирилловича не видѣлъ, и не показывался къ нему, а уѣхалъ изъ дому, опять былъ на бѣгахъ, напился, и весь свѣтъ, вся Москва мнѣ теперь другими казались. Какъ море по колѣно. Вѣдь, такъ сказать, я все жъ таки предателемъ еще не былъ, а мнѣ мерещилось, что я теперь что угодно могу сдѣлать, не только что котомъ стать, а на всякое преступленье пойду, потому въ чужой я власти, въ грѣховной, и мнѣ все равно пропадать такъ сейчасъ ли, или еще когда, — все равно.

Вечеромъ, когда вернулся, встрѣчаетъ меня Ольга Ивановна, глаза у ней сухіе, горятъ, и вся она не своя, будто въ другомъ мѣстѣ присутствуетъ, а здѣсь одна ея видимость. Я очень хорошо понялъ: бѣгалъ хорь цѣльный день, придумывалъ, и теперь вотъ онъ, готовъ.

Такъ оно и вышло. Вѣрно, придумала, да еще что!

Увела меня въ комнатку, дверь на крюкъ, и говоритъ: здѣсь оставаться намъ нельзя, бѣжать надо, за границу. Денегъ мало. Это не бѣда. Все она разсудила. Вынула

револьверъ, на меня навела. Если, говоритъ, проболтаешься, или помочь не захочешь — мнѣ терять нечего, живымъ не выпущу. Я слушаю, молчу. Не испугался нисколько, знаю, все равно: какъ она скажетъ, такъ и сдѣлаю.

А надумала малявка такъ: у Льва Кириллыча въ столѣ, на ключъ запертомъ, процентныхъ бумагъ и деньгами хранилось тысячъ на двадцать.

Ключъ этотъ онъ подъ подушкой хранилъ, и спалъ довольно чутко. А послѣдніе дни сталъ, чтобы отъ безсонницы избавиться, понемногу морфію принимать. Какъ онъ въ двѣнадцать задремалъ, долженъ я къ нему прокрасться, и морфію въ рюмку всыпать, чтобъ ужъ не проснулся. Потому это я именно сдѣлаю, что у мужчинъ нервы крѣпче, видите ли. А она — вдругъ испугается и все испортитъ!

Я не помню словъ, какими она мнѣ это говорила. Можетъ, потому, что такихъ словъ и нельзя запомнить. И даже я предполагаю — не была ли Ольга Ивановна, когда револьверомъ грозила и планъ свой разсказывала — не была ль она просто сумасшедшей въ это время. Бредъ свой (бредилэ, можетъ, отъ ужаса), — и мнѣ навязала. А что навязала, это вѣрно. Можетъ, разскажи она мнѣ это недѣлю назадъ, я бъ ее тутъ же, какъ суку паршивую, прихлопнулъ. А то, вѣдь, нѣтъ — сидѣлъ, слушалъ, ни слова не сказалъ. И день слѣдующій точно во снѣ прожилъ, и ждалъ вечера, какъ особеннаго часа жизни, потому зналъ, тутъ рѣшается моя судьба. Ольга Ивановна тоже была особенная, точно вся въ одномъ, и ходила осторожно, чтобы, скажемъ, не расплескать, что въ ней было.

Вечеръ наступилъ, звѣзды надъ садомъ нашимъ зажглись, а я какъ полоумный въ саду на скамеечкѣ сидѣлъ, и часу ждалъ. Помню, когда о двадцати тысячахъ думалъ, которыя у Льва Кириллыча въ столѣ лежатъ, то по всему тѣлу проходило мучительное, сладкое чувство. Что го-

ворить: я эти двадцать тысячъ очень хотѣлъ получить, и одной Ольгой Ивановной всего не объяснишь. Мнѣ за границу хотѣлось, въ рулетку играть, милліонъ выиграть, а что больнымъ однимъ старикомъ меньше будетъ, да еще такимъ, какъ Левъ Кириллычъ, — право, мало это меня касалось.

И когда я такъ въ саду сидѣлъ и ждалъ, мнѣ показалось, что теперь ужъ никакая сила меня не можетъ удержать, — разъ случился во мнѣ этотъ переломъ, — конецъ. Шелъ я какъ въ пропасть въ эту комнату Льва Кириллыча. Дѣло прошлое, могу сознаться, наслажденіе великое было — чувствовать, что вотъ сейчасъ, сейчасъ ... и уже не вернешь. Убійца, воръ! Голова кружится.

Ольга Ивановна сидѣла у себя въ комнатѣ, будто и ничего произойти не должно было. Опять я не могу сказать, въ здравомъ умѣ была, или нѣтъ. А я черезъ балконъ прошелъ, дверь балконную притворилъ на шпингалетъ, и на цыпочкахъ мимо отворенной двери ко Льву Кириллычу прокрался. Левъ Кириллычъ лежалъ на спинѣ, спалъ. Я изъ гостиной — въ коридоръ. Войти долженъ былъ изъ коридора, чтобъ, если онъ глаза случайно раскроетъ, то меня не увидѣлъ бы. Такъ все и сдѣлалъ. Лежитъ. Тишина въ домѣ мертвая, по Москвѣ пролетки гдѣ-то гремятъ, гдѣ-то очень далеко.

Подошелъ я къ самой коробочкѣ съ морфіемъ, — кости и голова на ярлыкѣ, при свѣтѣ ночника увидѣлъ, — вздохнулъ, руку протянулъ, и вдругъ... почувствовалъ, что какъ раньше ничѣмъ меня нельзя было остановить, образумить, такъ сейчасъ нельзя заставить этотъ порошокъ въ руку взять. Постоялъ, повернулся, и тихо, дѣловито, какъ Ольга Пвановна со мной говорила, прошелъ въ ея комнату. Она встала — спрашивала, значитъ, сдѣлано ль. Я ничего не сказалъ, пальто надѣлъ, потомъ спокойно, точно мной тоже другой кто управлялъ — изо всей силы ударилъ по лицу Ольгу Ивановну. Я былъ тогда силенъ. Она упала, а я вышелъ.

II

Пошелъ я по Садовой медленно, къ Тверской. Разсвѣтъ занимался. Я шагаю, и такъ усталъ, что насилу ноги двигаю. Но покой на меня нашелъ удивительный. Такъ бы и ушелъ, сколь можно дальше, въ поле бы выбраться, лечь на спину, и просто такъ, полежать.

Тутъ на меня ужасъ напалъ. Хорошо въ полѣ лежать, у кого ничего нѣтъ на совѣсти, кто сердцемъ чистъ. Ну, а кто преступникомъ, убивцемъ сталъ, — тому какъ? Чуть я не побѣжалъ бѣгомъ. Мнѣ померещилось, то-есть, что Льва Кириллыча я отравилъ, и съ Ольгой Ивановной въ предательскую шайку вошелъ, и Іудины сребренники получаю. На одно мгновеніе представилъ — похолодѣли виски.

И такъ, я, значитъ, по Садовой чуть не бѣгу, и про себя твержу: „нѣтъ, нѣтъ, неправда это все, неправда".

И тѣмъ же утромъ, въ шесть часовъ, какъ только буфетъ открылся, сидѣлъ я на Брестскомъ вокзалѣ и чай пилъ, про себя размышлялъ, какъ мнѣ быть. Теперь ужъ поспокойнѣй былъ, и понималъ, что ничего еще не случилось, и могъ нѣсколько умомъ пораскинуть. Значитъ, очень меня эта исторія съ Ольгой Ивановной и Львомъ Кириллычемъ задѣла, и хоть жилъ я неправильно и развратно, все же это весьма меня встряхнуло.

Жизнь моя мерзостью показалась удивительной. Неужели жъ я, правда, такой ужъ котъ, супникъ и мошенникъ безпросвѣтный? Неужели жъ не могу честно устроиться, на тихой дѣвушкѣ жениться, жить въ своемъ углу, покойно, прилично? Ну, вѣдь, годенъ же я на что-нибудь, кромѣ бѣговъ да клуба? Тутъ гордыня моя всегдашняя заговорила. Нѣтъ, это еще мы посмотримъ!

И вотъ сидя, съ самимъ собой разговоры ведя, дошелъ я до очень простой вещи: Ольгу Ивановну я брошу, и всю свою жизнь прежнюю, а постараюсь по-новому устроиться,

если можно, даже изъ Москвы совсѣмъ уѣхать, чтобы меньше соблазну, да, можетъ, гдѣ въ другихъ мѣстахъ и лучше будетъ.

День разыгрался веселый, солнечный, и когда я съ Брестскаго вокзала шелъ по Тверской, представлялось мнѣ, что я теперь другой человѣкъ, весь вымытый, полегчавшій, силы у меня сколько хотите, а вотъ люди, солнце, тепло — это все отлично. Ольги же Ивановны замыслы меня не касаются.

И такъ я себя разжегъ, мнѣ и впрямь представилось, что я порядочный человѣкъ, и образованный даже. Вспомнилъ Андрея Иваныча, метранпажа, который меня въ дѣтствѣ грамотѣ училъ, и какъ Никитина когда-то читалъ. Опять стыдъ меня обуялъ, — вѣдь, за все время, что я въ праздности и сытости съ Ольгой Ивановной прожилъ, я ни одной книжки не прочелъ, даже въ газетахъ читалъ только про бѣга, да несчастные случаи, судебныя дѣла.

Чтобы все сразу измѣнить и вправду другимъ сдѣлаться, отправился я въ Народную Читальню, и спросилъ тамъ „Русскія Вѣдомости“; сталъ читать, какъ люди за границей живутъ. Просидѣлъ такимъ манеромъ довольно долго, потомъ очень усталъ (ночь-то безсонную провелъ) и отправился въ ресторанчикъ закусить.

А в этомъ ресторанчикѣ и судьба меня ждала новая, хоть я объ этомъ нисколько не думалъ: я встрѣтилъ знакомаго коммивояжера, съ которымъ немного по клубу, да по бѣгамъ былъ знакомъ (онъ изъ западнаго края, въ Москвѣ по дѣламъ бывалъ). Такой онъ былъ ловкій, проборъ посередь головы, брелоки на животѣ, галстукъ пестренькій, и всегда говорилъ, что въ Польшѣ все хорошо и дешево, а въ Москвѣ дорого и скверно.

Такъ же и тутъ, выпилъ онъ пива, развеселился, и сталъ Польшу расхваливать.

— А въ Варшавѣ панъ тоже не былъ? А Варшава, а то — малый Парижъ, прошу пана. У васъ завтракъ рубль, а у насъ въ первомъ мѣстѣ семьдесятъ пять!

Говорилъ, говорилъ, очень разошелся, и когда выпили съ нимъ еще пива, то прямо сталъ въ Варшаву звать, и будто въ той же фирмѣ, гдѣ онъ работаетъ, помощникъ какъ разъ нуженъ для него, потому что дѣла съ Москвой растутъ.

— На другій день якъ въ Варшавѣ — сто въ мѣсяцъ, угодно? Сто чистенькими, это вамъ что-нибудь ужъ значитъ!

Очень онъ меня распалилъ, и тутъ же я рѣшилъ — ладно, дадутъ сто — хорошо, не дадутъ, все равно какую-нибудь работу да найду, къ тому же у меня триста рублей на книжкѣ уцѣлѣли, значитъ, первое время перебиться сумѣю.

Такъ я и сдѣлалъ, собралъ кой-какой свой скарбъ, Ольгѣ Ивановнѣ сказалъ, что мѣсто получилъ тутъ же въ Москвѣ, и, не долго разговаривая, уѣхалъ въ Варшаву. Понятно, глупо было первому слову полячка, котораго почти и не зналъ, — довѣрять, но меня и самого чрезвычайно подмывало куда-нибудь подальше забраться.

Мѣста мнѣ въ Варшавѣ никакого не дали, очутился я на улицѣ. Пока деньги были — ничего, а потомъ стало круто. Я крѣпился, хотѣлось мнѣ на честную линію выбиться, стать, значитъ, хоть пролетаріемъ, да чтобъ смѣло всякому въ глаза могъ смотрѣть.

И вотъ, это нелегко мнѣ давалось. Жизнью съ Ольгой Ивановной у Ѳаддеева я былъ избалованъ, даже развращенъ. А въ чужомъ краю, безъ языка, достать сносную работу очень трудно. Получивъ же — надо ее удержать. Говорю это не въ свое оправданіе, а чтобы понятнѣе было, какъ я жилъ.

Кѣмъ, кѣмъ только я не перебывалъ въ западномъ краѣ! И посыльнымъ въ конторѣ, и на заводѣ служилъ, въ Гута-Банковѣ. И опять же, чѣмъ могъ я заниматься тамъ, кромѣ какъ чернорабочимъ дѣломъ, по шестидесяти копеекъ въ день? А прокатчики по два, по три рубля получали.

Развозилъ я въ Варшавѣ молоко на велосипедѣ, отъ фирмы, мылъ въ ресторанахъ окна, по полтиннику въ день, торговалъ на улицѣ игрушками, ходилъ съ рекламой за спиной, въ дурацкой одеждѣ. Просилъ и „на билетъ до границы“, когда очень ужъ туго приходилось. А все же въ Москву не хотѣлось ворочаться, потому, не было и въ Москвѣ мнѣ пристанища. Объ Ольгѣ Ивановнѣ не могъ спокойно вспомнить.

Такъ я пробился года полтора, — и сталъ слабѣть. Просто руки опускаются. Не удержусь, думаю, пропаду гдѣ-нибудь подъ заборомъ. И вотъ сталъ я опять опускаться. Началъ пить, стала мнѣ одна дѣвчонка помогать, словомъ — предстояла прежняя дорожка. Тутъ я свелъ знакомство со всякими людьми, а Варшава ими кишитъ. Были у меня жокеи, и биржевые зайчишки, и контрабандисты, и мошенники и даже одинъ фальшивомонетчикъ. Самъ же я по фальшивымъ деньгамъ не работалъ, это скажу прямо.

Всѣ эти люди такъ норовили устроиться, чтобы полегче, попріятнѣй жизнь скоротать, не обременять ее трудомъ и потомъ, а если завтра капутъ, такъ и ладно. Это для меня выходило очень подходяще, потому, правда, чего мнѣ было ждать завтрашняго дня? Впереди ничего не видѣлъ, значитъ — пропадай моя телѣга, всѣ четыре колеса.

Работая немного по контрабандѣ, я иногда и политическимъ способствовалъ, въ переправкѣ за границу. По случаю дѣлъ съ русскими политическими, сошелся я съ нѣкоторыми изъ польскихъ. Выпало мнѣ знакомство съ самыми что ни на есть отчаянными, называли они себя „анархистами-коммунистами“. Говоря короче, въ родѣ разбойниковъ были. Большей частью изъ нашихъ же, такихъ подонковъ, какъ я, состояли. Мнѣ же было это какъ разъ подъ стать. Удила ужъ тутъ я совсѣмъ закусилъ, опять въ болѣе легкую жизнь выбился; что со мной въ

Москвѣ происходило, — совсѣмъ забылъ. Вино, женщины, деньги — вотъ стали три моихъ кита, хотя, не скрою, иногда нападали на меня приступы отчаянной тоски, будто волочу гирю въ сто пудовъ вѣсомъ, и все она тяжелѣй, съ каждымъ днемъ. Я предавался вину, и излишествамъ еще больше, но сколько ни кутилъ, и не безобразничалъ, никогда не было въ моей душѣ покоя, безъ котораго жизнь не имѣетъ и малѣйшей прелести. Въ это время я такъ себѣ иногда представлялъ, что какъ будто я полюбилъ честную дѣвушку, и она меня, я на ней женюсь, и живемъ мы, имѣя свое дѣло, независимо, порядочно. Даже больше скажу: во время своего бродяжества, по темнымъ дѣламъ, я встрѣтилъ на пограничной станціи дѣвушку (она служила горничной въ дамской комнатѣ), которая какъ разъ этимъ мыслямъ соотвѣтствовала. Очень деликатная, тихая, и скромно себя держала. Звали ее Настасьей Романовной. Я было попробовалъ съ ней такъ и этакъ, но она меня быстро отшила. Это мнѣ тоже понравилось. Я мало очень такихъ видѣлъ раньше.

Однако же, надо было чѣмъ-нибудь питаться. Шайка наша утвердилась, окрѣпла, и мы занялись экспропріаціями, то-есть грабежами.

Долженъ сказать — людей въ этихъ дѣлахъ убивать мнѣ не приходилось, но изъ товарищей кой-кто былъ ужъ въ крови, какъ, напримѣръ, Янъ Хщонщъ, нашъ предводитель. Сначала мы прикрывались революціей, но скоро всѣ поняли, что никакой тутъ революціи нѣтъ, просто мы для себя работаемъ, подъ благовиднымъ флагомъ.

Дѣйствительно, намъ повезло первое время, и изъ проходимцевъ мы вскорѣ вышли въ господа, пріодѣлись, въ первомъ классѣ стали ѣздить на работу, въ лучшихъ ресторанахъ бывали — однимъ словомъ, съ виду никакъ насъ нельзя было признать за разбойниковъ.

Но недолго такъ продолжалось: до того самаго ограбленія на станціи, о которомъ много писали въ газетахъ.

Это дѣло извѣстное. Мы напали на станцію, куда артельщикъ только что привезъ деньги — вечеръ былъ темный, туманный. Связали начальника, взяли кассу, артельщикъ сопротивлялся — его убили, — и забравъ двадцать тысячъ, — бѣжали.

Опять же: убивать мнѣ не пришлось, но эту ночь сырую, огни на линіи, выстрѣлы, какъ потомъ за нами стражники гнались, а мы по картофельному полю бѣжали къ лѣсочку, и тоже отстрѣливались — этого я никогда не забуду, нельзя это забыть.

Трое нашихъ пропало тутъ же, четырехъ потомъ поймали, лишь я, да слесарь одинъ бывшій, Квятковскій, изъ всѣхъ и спаслись.

Товарищей моихъ по этому дѣлу повѣсили, мнѣ же досталось пять тысячъ, которыя я сумѣлъ урвать во время бѣгства, и потомъ спряталъ.

Какъ я убѣжалъ, какъ меня шальная пуля не догнала, этого я не знаю, и потомъ мнѣ иногда казалось, что напрасно и не влѣпили мнѣ сзади заряда. Какъ теперь посмотрю, значитъ, былъ такой смыслъ. Значитъ, нужно мнѣ было черезъ все пройти.

Пять тысячъ деньги немалыя. Раньше, можетъ, я бы ихъ прокутилъ, да тутъ опять со мной что-то произошло. То ли еще силы, здоровья во мнѣ было достаточно, и не хотѣлось совсѣмъ пропадать, то ли подѣйствовало, что товарищей, кого поймали, повѣсили тотчасъ, только вдругъ бросилъ я Варшаву, и всю компанію, съ которой послѣднее время якшался, и уѣхалъ на прусскую границу.

Понятно, прямо въ городокъ, гдѣ жила Настасья Романовна.

Тутъ во мнѣ и отозвалось, что отецъ мой, хоть и не по настоящему, все же торговлей занимался: рѣшилъ я сгоряча за дѣло взяться, зажить какъ слѣдуетъ. Какъ разъ и вышло, что въ этомъ городѣ буфетъ при станціи передавался, и при буфетѣ меблированныя комнаты. Эти

комнаты существовали для того, что случалось, поѣзда съ нѣмецкой границы съ нашими не совпадали, и значитъ, выходило, что кто въ Россію возвращался, оставались тутъ ночевать. Граница эта не главная, не то, понятно, что Александрово или Вержболово, а все же дѣло это было довольно выгодное, могло давать хорошій профитъ.

Выждалъ я, пока затихла исторія съ грабежомъ, и снялъ тотъ буфетъ, и меблированныя комнаты. Тутъ же я посватался къ Настасьѣ Романовнѣ.

Какъ ужъ я говорилъ, Настасья Романовна была дѣвушка скромная, деликатнаго и даже нѣжнаго вида, собой миловидная. Происхожденіе ея не совсѣмъ обычное, а именно, барышня одна, возвращавшаяся изъ за границы, потеряла паспортъ, провела здѣсь три дня; пока насчетъ паспорта справки наводили, съ офицеромъ пограничной стражи согрѣшила. Родила она дочку въ Гродно, а сама умерла. Дочь къ отцу вернули, онъ не отрекся, и тутъ же ее устроилъ у одной женщины, и даже платилъ ей, а потомъ и его перевели. Она же осталась на той самой станціи, откуда получила начало жизни.

Эта самая барская порода въ Настасьѣ Романовнѣ очень даже меня прельстила; понятно, не одно это.

Что-то въ ней такое было, — движенія тѣла, поступь, губы влажныя и огонь скрытый, я все же чувствовалъ его — это все и раскаляло меня до послѣдней степени. Въ скромности ея, какъ будто робости, покорности я такое видѣлъ, что у меня ноги дрожали.

Не умѣю сказать и, признаться, не размышлялъ тогда, нравлюсь ей, или нѣтъ, меня одно разбирало, какъ бы ее добиться, а безъ брака, я понималъ, она ко мнѣ не пойдетъ, потому силу свою женскую знаетъ. Я же былъ уже буфетчикомъ, человѣкомъ состоятельнымъ, любилъ ее звѣрски, это тоже она видѣла, былъ собой недуренъ, горячъ: ей, однимъ словомъ, полный смыслъ за меня выходить.

Она и вышла.

Такимъ манеромъ сдѣлался я вдругъ женатымъ и солиднымъ человѣкомъ, несмотря, что чуть не вчера еще разбойникомъ былъ. И какъ сами понимаете, не могъ себя просто, покойно чувствовать. Настасья Романовна превзошла, чего я отъ нея ждалъ, и до того меня доводила, что кажется, такъ бы ее и разорвалъ на части во время любви. Совсѣмъ я какъ пьяный или безумный отъ нея былъ. И съ каждымъ днемъ я сильнѣй чувствовалъ, какъ въ нее въѣдаюсь, какъ нельзя отъ нея оторваться, точно она оборотень какой, упырь, которому меня же и съѣсть надлежитъ. А она ходитъ себѣ весь день невинно глазки потупивъ, въ работѣ мнѣ помогаетъ по буфету, и только иногда блеснетъ у ней во взорѣ такое, что отъ ея скромнаго вида весьма далеко.

Я же у стойки стою, за кассой, за огромнѣйшимъ самоваромъ наблюдаю, и когда она вблизи меня проходитъ, холодѣю. Да и вообще, какъ уже сказалъ я, не было мнѣ покою. Дѣла шли очень порядочно, кухню я улучшилъ, и проѣзжающіе весьма оставались довольны — особенно свѣжей рыбой, которой доставку я устроилъ. Много у насъ столовалось пограничныхъ, офицеровъ, и господа жандармы. Не скрою — каждый разъ, какъ увидишь синій околышъ этотъ — то и кажется: ну, голубчикъ, по твою душу, пожалуйте-ка въ тюремный замокъ, а оттуда на перекладину, на качели воздушныя. И главное, я понималъ, что это вѣрно, что коли моихъ товарищей вздернули, почему же и меня нѣтъ? Чѣмъ я меньше ихъ заслужилъ? А потомъ смѣялся надъ собой, издѣвался, что я трусъ, дуракъ, байбакъ. Ну, было и было, а теперь концы въ воду, въ живыхъ-то никого не осталось, и меня при ограбленіи никто не видѣлъ, стало быть — откуда жъ меня опознать могли?

И тогда я напускалъ на себя веселость, даже наглость такая во мнѣ появлялась, что я со знакомымъ жандармскимъ капитаномъ объ этомъ самомъ ограбленіи разговоръ

завелъ. „Да,“ сказалъ: „деньги-то не всѣ нашли, пять тысячъ пропали, вѣрно, одинъ голубчикъ все жъ таки утекъ, не отвертится.“

А я посмѣиваюсь.

— Разумѣется дѣло. Вздернутъ.

Такъ-то вотъ я кощунствовалъ, можно сказать, а самъ Настасьи Романовны немного боялся. Ходитъ она, работаетъ около меня чисто, тихо, а у самой все такая улыбочка, — что это, молъ, одна видимость, а тебя со всѣми твоими штуками я наизусть знаю. Ничего отъ меня не скроешь.

По правдѣ говоря: другъ съ другомъ мы цѣлый день, спимъ вмѣстѣ, взгляду ея каждая моя жилочка открыта, и когда я поблѣднѣю, когда тоска на меня находитъ, — ничего этого нельзя утаить: ужъ про то не говорю, что во снѣ станешь бормотать — сны же у меня всегда были безпокойные, а въ это время особенно.

И я тоже присматривался къ Настасьѣ Романовнѣ, къ ея поступи мягкой, теплотѣ, что въ ней была, и думалъ: а что, если бы она узнала, на какія деньги я этотъ буфетъ содержу? Что бы она сказала? Это загвоздка была для меня, и, положивъ руку на сердце, ничего я тутъ не могъ отвѣтить.

Какъ-никакъ, прожили мы зиму, а въ мартѣ весна ужъ открылась, въ западномъ краѣ она раньше нашей, московской, бываетъ. Стало у насъ больше пассажировъ: передъ Пасхой многіе изъ столицъ за границу ѣздятъ отдыхать. Смотришь, бывало, на эти скорые поѣзда, что богатыхъ людей, спокойныхъ, довольныхъ, въ чужія страны везутъ, даже завидки возьмутъ. На лицахъ у нихъ написано: мы, молъ, порядочные люди, сколько надо за зиму поработали, деньжонки есть, а теперь ѣдемъ жизнью пользоваться, потому мы не какіе-нибудь, не шушера, а настоящіе. И они на меня тоже тоску нагоняли. Хотѣлось мнѣ тогда тоже въ поѣздъ сѣсть и куда-нибудь на край

свѣта уѣхать, напримѣръ, въ Южную Америку. Тутъ я вспоминалъ, какъ бывало Ольга Ивановна читала въ газетахъ о разныхъ кассирахъ, мошенникахъ, которые, взявъ большой кушъ денегъ, за границу скрывались. Помню, когда она это читала, мнѣ было чудно̀, и очень я себя далеко отъ этихъ людей полагалъ, а вотъ теперь оказывается, самъ какъ разъ такой, даже хуже, и еще тѣмъ хуже, что и цапнулъ-то немного.

Между прочимъ, здѣсь я имѣлъ одну встрѣчу. Однажды, вижу, несутъ на носилкахъ человѣка, четверо носильщиковъ, за носилками дама, хорошо одѣтая, въ сѣромъ костюмѣ: это — значитъ, только что изъ Москвы поѣздъ пришелъ, и больного старика къ заграничному перетаскиваютъ. Смотрю, знакомое что-то. Ближе подходятъ — ну, конечно, Левъ Кириллычъ и Ольга Ивановна. Значитъ, на воды, наконецъ, собрался. Я за самоваръ нашъ огромнѣйшій укрылся, но тоже, помню, какъ бумага сталъ бѣлый. А тутъ какъ разъ Настасья Романовна со своимъ невиннымъ видомъ:

— Взгляните, говоритъ, Николай Ильичъ, какого слабаго человѣка, а тоже лѣчиться везутъ!

Сама смотритъ на меня, и видитъ, какъ я смутился, и улыбается:

— А вы, говоритъ, даже и взглянуть не желаете.

Боже мой, прости мнѣ мои прегрѣшенія, но не удержусь, все же, не сказать: иногда эта самая ея улыбочка изъ себя меня выводила — будто надо мной насмѣшка.

Ну, вообще наша жизнь съ Настасьей Романовной не очень-то ладилась, какъ и надо было ждать, понятно. Я на жену просто смотрѣлъ: взялъ, купилъ, и готово. А того я не соображалъ, что человѣка-то купить трудно. И Настасья Романовна, хоть и жила, и спала со мной, мнѣ только по видимости принадлежала, а сердце у ней было свободно: меня она ни крошки не любила, это я понималъ. Такъ что мысль моя — на тихой, на любящей дѣвушкѣ

жениться и съ ней счастливо жить — это все только по внѣшности исполнилось, а въ серединѣ пустое мѣсто.

Понятно, что я такое былъ? Буфетчикъ, хамъ. А у насъ на станціи и пограничники, и жандармы — нѣкоторые даже собой видные офицеры. Бабье же дѣло такое, что военный для нихъ орелъ, и сразу къ себѣ располагаетъ. И изъ нихъ кто побойчѣй, поопытнѣй, тоже могъ въ Настасьѣ Романовнѣ ея природу разобрать, а на это всѣ, вѣдь, падки, дѣло извѣстное.

Однимъ словомъ, явился тутъ поручикъ Бабанинъ, жандармъ — рослый, розовый, усики черные; какъ пришлось мнѣ въ жизни замѣтить, довольно часто бываютъ жандармы такіе розовые и упитанные, особенно въ молодости.

Сталъ онъ и такъ и сякъ, къ буфету очень зачастилъ, бывало, выйдешь зачѣмъ наверхъ, въ меблированныя комнаты, спустишься потомъ— онъ ужъ у стойки, съ Настасьей Романовной любезничаетъ, и со мной за панибрата, точно я ему родственникомъ довожусь. Меня это злило. Молчу, крѣплюсь, на шуточки его не отвѣчаю, свое дѣло дѣлаю, а у самого закипаетъ. Настасья Романовна это понимала очень хорошо, и со мной какъ нарочно еще ласковѣй, такъ овечкой и лебезитъ. Меня же провести трудно, и скажу такъ, къ тяжелымъ мыслямъ, что меня одолѣвали съ тѣхъ поръ какъ на вокзалѣ поселился — прибавлялись теперь новыя. Сталъ я задумчивѣй, угрюмѣй. На меня нападала тоска, и теперь я не могъ отъ думъ оторваться, отъ думъ о своей жизни. Прежде, какъ ляжешь, сразу засыпалъ, а теперь нѣтъ: рядомъ Настасья Романовна, спитъ, во снѣ чему-то улыбается. А мнѣ мерещится — это поручикъ Бабанинъ ей снится. И я на нее смотрю, мнѣ тоже жутко дѣлается, будто, чую я, эта женщина тоненькая — и есть моя погибель. Страсть я къ ней чувствую звѣрскую, точно она еще невинная дѣвушка, и ненависть такую: вотъ, кажется, взялъ бы ее да тутъ же и задушилъ. И даже мнѣ

представляется, какъ шейка ея слабая подъ моей лапой хрустнетъ. „Что жъ, моя жена — будетъ гулять — задушу. И ничего такого нѣтъ. Я ее изъ горничныхъ взялъ, женился, самъ кромѣ нея ни на кого не гляжу, а она съ жандармомъ будетъ путаться?“ Сядешь, бывало, въ одномъ бѣльѣ, на постели, голову руками сожмешь. „Не любитъ, стерва, обманула, какъ замужъ шла.“ „Да развѣ спрашивалъ ее, любитъ ли?“ „Все равно, коли замужъ выходишь, должна своему мужу вѣрной быть, и любить его.“ Тутъ ужъ поймешь, что глупости болтаешь, какъ есть на постель повалишься и лежишь какъ колода, съ пустой головой. Потомъ лампадку зажжешь, поставишь передъ иконой свѣчку. Молиться хочется, да не выходитъ ничего. Трудно, видно, такому, какъ я, очиститься.

А у меня, кромѣ Настасьи Романовны, еще мука была, тоже меня изводила. Тѣ несчастныя деньги, что на мою долю выпали, не всѣ были кредитками. Тысячный билетъ одинъ затесался туда, государственной ренты. И продать я его не смѣлъ, по той причинѣ, что его номеръ извѣстенъ былъ, — значитъ, предлагать его опасно. Я хранилъ этотъ самый билетъ очень аккуратно, и до чрезвычайности жегъ онъ мнѣ всегда руки. Главное же, долженъ былъ я его отъ Настасьи Романовны прятать, сами знаете, что за народъ бабы, а тутъ чѣмъ, вѣдь, дѣло пахло. Совсѣмъ же его разорвать тоже духу нехватало, — думалъ, пройдетъ время, какъ-нибудь черезъ жида или контрабандиста спущу.

Между тѣмъ, сталъ я насчетъ жены анонимныя письма получать. Понятное дѣло, разные тамъ „доброжелатели“. Сперва понемногу, потомъ прямо дѣлали объясненіе, чтобы, молъ, за женой присматривалъ, у нея съ поручикомъ Бабанинымъ дѣло есть. Я сперва промолчалъ, потомъ къ Настасьѣ Романовнѣ. Та въ слезы, на икону божится, что это враги наши подстраиваютъ, а сама дрожитъ, и чую я — боится. Была она блудливая женщина, стало быть не изъ храбрыхъ.

Я ей прямо рѣжу, хоть и стараюсь сдержаться:

— Если только, Настасья Романовна, это правда, то ужъ знайте, я не потерплю. Какъ хотите, даромъ вамъ не пройдетъ.

И должно, правда, видъ у меня былъ страшный, снова она мнѣ поклялась, что ничего не было, и не будетъ ничего.

Только я съ этого дня замѣтилъ, что и ко мнѣ она перемѣнилась. Бояться меня стала, и еще больше ненавидѣть, хоть и старалась это скрыть. И что промежду нами, какъ у мужа съ женой, тоже для ней сдѣлалось противно, но она покорялась, а только я понималъ, что она отъ меня и вовсе отошла.

Я, понятно, тутъ совсѣмъ неправъ былъ, но меня это еще пуще ожесточало. Нарочно, бывало, къ ней пристаю, свою мужнину власть показываю. А она — покорна-то покорна, ни въ чемъ упрекнуть не могу, а чувствую — нѣтъ, все-таки что-то неладно. Выйдетъ изъ дому на полчаса, сейчасъ у меня мысли — гдѣ была, да не встрѣтилась ли, да то, да се.

И такая жизнь, понятно, меня очень изводила. Мнѣ еще далеко тридцати не было, а меня полагали много старше, и мнѣ самому представлялось, что живу я чрезвычайно давно, и вижу весьма мало радости. Даже мое дѣло, по буфетной части, изъ чего я надѣялся большую пользу имѣть — и это меня теперь мало занимало. Конечно, хорошо буфетъ имѣть и деньги наживать, когда о перекладинѣ не думаешь, билета тысячерублеваго не прячешь, и жена съ тобой рядомъ любящая, вѣрная. А какъ у меня было — не приведи Богъ никому.

И въ это самое, трудное время, Господь посѣтилъ меня. Тяжело объ этомъ говорить, да ужъ разъ взялся — надо.

Лѣто выдалось удивительно жаркое, просто на рѣдкость. Съ пассажирами случались обмороки, у насъ въ буфетѣ скисало молоко, я ходилъ въ люстриновомъ пид-

жакѣ, и воротникъ крахмальный на мнѣ намокалъ. Настасья Романовна отъ усталости вся потемнѣла; подъ глазами круги появились, и лишь поручикъ Бабанинъ въ бѣломъ своемъ кителѣ ходилъ какъ ни въ чемъ не бывало. Писемъ я больше не получалъ, но почему-то теперь окончательно увѣрился, что у Настасьи Романовны съ Бабанинымъ все есть. Я отмалчивался, а самъ чуялъ, какъ во мнѣ растетъ страшная сила. Что ни день, меня самого пуще она томитъ. Даже преслѣдовать стала меня одна мысль: какъ Настасья Романовна съ Бабанинымъ любовью наслаждаются. И тутъ же себѣ вопросъ задаю: да когда же, гдѣ? И самъ понимаю, что негдѣ, а все меня это точитъ. Наконецъ, вскорѣ послѣ Казанской, рѣшилъ я такую штуку продѣлать, чтобы ихъ на свѣжую воду вывести: уѣхать на день изъ нашего городка.

У меня и предлогъ хорошій былъ: будто ѣду ящикъ въ банкѣ завести, куда деньги буду класть.

Сказалъ я Настасьѣ Романовнѣ, что ворочусь на другой день, тамъ, будто, переночую. А мнѣ, и правда, въ ближній городъ надо было съѣздить, потому страшно становилось билетъ этотъ у себя держать: ну, какъ Настасья Романовна его подсмотритъ, мало ли что можетъ выйти?

Пошелъ я къ двѣнадцатичасовому поѣзду собираться, открылъ ключемъ ящикъ, гдѣ лежалъ билетъ, въ это время меня кликнули. Я притворилъ, а на ключъ не заперъ. Сбѣжалъ внизъ, принялъ отъ мясника счетъ, и опять наверхъ. Вижу, сидитъ у стола Настасья Романовна, ящикъ отодвинула, и билетъ держитъ.

— Какая, говоритъ, бумага пріятная: точно лакомъ покрыта. Номеръ пять тысячъ двадцать восьмой.

И нагнулась, цифры разсматриваетъ.

Я, видимо, въ лицѣ измѣнился.

— Что это вы, Николай Ильичъ, я не маленькая, билета вашего не разорву.

Я ей хрипло:

— Давай билетъ!

И вырвалъ его изъ рукъ, довольно грубо. Настасья Романовна вздохнула, встала, и молча изъ комнаты вышла. А у меня руки дрожали, когда я этотъ билетъ въ бумажникъ клалъ. „Стерва", твердилъ: „Ахъ ты, стерва!"

Ящикъ я заперъ, внизъ спустился. Подошелъ поѣздъ, Настасья Романовна не вышла меня провожать. Мнѣ все равно было. Я сѣлъ въ вагонъ, поѣхали. Жара въ купэ несосвѣтимая. Помню, ѣду я, и все мнѣ кажется, за нашимъ поѣздомъ другой летитъ, и въ другомъ кто-то ѣдетъ. Какъ мы на станціи остановимся, насъ догонятъ, войдетъ онъ въ мое купэ. И вдругъ мнѣ тогда все стало представляться сѣрымъ, точно на весь Божій міръ тѣнь кѣмъ-то брошена, несмотря, что солнце свѣтитъ чрезвычайно ярко.

— Вѣрно, лѣса гдѣ-нибудь горятъ, — помню, — сказалъ господину, который со мной ѣхалъ.

— Почему вы думаете?

— Прежде, бывало, лѣтомъ воздухъ какой прозрачный, а теперь сѣро, дымно.

Онъ на меня съ удивленіемъ посмотрѣлъ.

— По-моему, и сейчасъ очень свѣтло.

Я молчу, ладно, думаю, можетъ, это я нездоровъ. Пріѣхали въ городъ, пошелъ я въ банкъ, нанялъ ящикъ, все это продѣлываю, подписываю; такъ какъ заявленіе давно послалъ, то ключи мнѣ уже готовы, въ стальной комнатѣ кладу свои бумаги, и билетъ этотъ, стою и смотрю на ящики, — всѣ они въ стѣну вдѣланы, и такъ мнѣ кажется, хорошо бы и меня самого въ такой ящикъ уложить, чтобы никогда оттуда не выйти.

Потомъ я въ гостиницу пошелъ, гдѣ рѣшилъ остановиться. Заказалъ себѣ обѣдъ, и водки къ нему полбутылки. Сижу я, обѣдаю, въ незнакомомъ мѣстѣ, не знаю зачѣмъ, водку пью, а въ глазахъ у меня Настасья Романовна, какъ

она у стола сидитъ, билетъ разсматриваетъ „номеръ пять тысячъ двадцать восемь.“ „Скажетъ,“ думаю, — тяжелотакъ, точно мыслямъ трудно двигаться: „обязательно любовнику скажетъ. Ну, ладно.“

И чтобы страхъ я тутъ чувствовалъ — нѣтъ, никакого страху. Все равно мнѣ стало. Допилъ я водку, легъ спать. Граммофонъ гдѣ-то рядомъ игралъ, лакеи ходили по коридору, а мнѣ было все равно — и представилось, что теперь я другой человѣкъ, и какъ прежде жилъ, немного ужъ мнѣ осталось.

Я заснулъ очень крѣпко, и проспалъ до самаго вечера.

Мутный это былъ сонъ, и вдругъ въ восемь я проснулся, какъ ошпаренный, точно опоздалъ куда. Сердце у меня билось какъ бѣшеное, весь я въ поту, и ужасъ мной овладѣлъ, будто я что пропустилъ.

Отворяю окно — на задворки выходитъ, дѣтишки еврейскія играютъ, солнце низко стоитъ, надъ пустыремъ золотится пыль: нѣтъ, ничего я не пропустилъ, напротивъ, рано мнѣ.

Я рѣшилъ домой вернуться съ двѣнадцатичасовымъ. Значитъ, времени довольно. Чтобы развлечься, пошелъ въ кинематографъ, смотрѣлъ слоновъ въ Индіи, комическую, потомъ шпіонку Кору. Она соблазнила пограничнаго офицера, чтобы выдалъ планъ крѣпости. Онъ выдалъ, а потомъ спохватился, что сдѣлалъ — и къ полковому. Тотъ ему: „догоняйте, а не догоните — вотъ вамъ револьверъ, сами поймете, что вамъ дѣлать.“ И онъ съ товарищами въ автомобилѣ за ней мчится, а она отъ нихъ, тоже во весь духъ, къ нѣмецкой границѣ. Стрѣляютъ другъ въ друга, наконецъ, застава. Тѣхъ нѣмцы пропустили, этихъ нѣтъ. Не догнали, значитъ. Ну, онъ изъ револьвера пулю себѣ въ лобъ.

Очень меня эта картина взволновала, и не знаю, почему, только чувствую — это про меня. И самъ не знаю почему именно про меня, а представляется будто самъ я на авто-

мобилѣ лечу, и хорошо понимаю, что мнѣ не миновать офицеровой участи.

Выхожу изъ кинематографа — еще горше мнѣ, чѣмъ когда входилъ. Иду по улицамъ, и самъ не знаю, зачѣмъ вышелъ за городъ, къ рѣкѣ. Пришла мнѣ тутъ мысль: мѣсто пустынное, песчаное, луна встала красная, блеститъ въ рѣкѣ — войти въ рѣку эту, и идти, идти, пока до дна не дойдешь. Нѣтъ, не пошелъ, не все додѣлалъ будто, погоди еще.

Сидѣлъ я на берегу, и въ душѣ у меня сухо было, пусто, тоже песчаная равнина. Кабы я молиться тогда могъ, пасть на землю передъ Господомъ и на всю окрестность рыдать — можетъ, и не было бъ, что произошло. Но не расплавилось мое сердце, оно было твердо и безплодно. Такъ же, вѣрно, и діаволъ блуждалъ по пустынѣ, тосковалъ и безумствовалъ, прежде чѣмъ идти искушать Спасителя.

Тутъ поѣздъ невдалекѣ пролетѣлъ по насыпи, и я вспомнилъ, что мнѣ пора. Поплелся къ вокзалу и на вокзалѣ долго сидѣлъ, своего поѣзда дожидался. Онъ запоздалъ; былъ первый часъ, когда я выѣхалъ.

Чѣмъ я ближе къ дому подъѣзжалъ, тѣмъ больше въ себѣ силы какой-то находилъ. Даже мнѣ чудилось — тѣло мое легче стало — все силой наполнялось, и въ то же время волненіе меня разбирало страстное. Но думать я ни о чемъ не могъ, ни соображать, ни понимать не былъ способенъ.

У насъ въ буфетѣ огни приспущены, прислуги почти никого — ближайшій поѣздъ въ четыре. Я прошелъ черезъ залу будто посторонній, не хозяинъ, и прямо наверхъ поднялся, въ меблированныя комнаты, гдѣ мы съ Настасьей Романовной жили. Зналъ я — два номера заняты, остальные свободны должны быть. Но въ четвертомъ номерѣ — сразу я это понялъ, есть кто-то. Я, конечно, иду по коридору на цыпочкахъ, слышу вполголоса разговоръ за дверью

и голоса знакомые. Мишка, коридорный, у себя храпитъ. Какъ собака сталъ я примѣтливъ. Сейчасъ къ замочной скважинѣ. Изнутри заперто, шепчутся, но, значитъ, не понимаютъ, что я здѣсь! Ничего не увидѣлъ, а ручка дверная духами пахнетъ, а, знаю я эти духи! Минуту постоялъ, какъ песъ, ручку обнюхивая, и не говоря ни слова, къ себѣ, въ номеръ. Дверь незаперта, и все отъ Настасьи Романовны осталось, какъ раздѣвалась. Но постель не смята.

Такъ. Луна зашла за облако, душно, я окно отворилъ. И на̀ улицѣ душно, въ болотѣ, за станціей, коростель кричитъ. Черезъ луну облачко длинное, темное протянулось. Я смотрю, кажется мнѣ — послѣдній разъ коростеля слышу. Окна не заперъ, раздѣлся, легъ, лицомъ къ стѣнкѣ, — Настасьѣ Романовнѣ мѣсто оставилъ поудобнѣй. Лежу, ничего не чувствую, точно меня нѣтъ. Бороду тронешь — чужая; лежу и лежу. Вдругъ, слышу, по коридору шаги. Босая идетъ. Огнемъ тутъ что-то по мнѣ прошло. Зналъ я эту поступь Настасьи Романовны, даже очень зналъ.

Вошла осторожно. Только было на постель сѣсть хотѣла, меня увидала — вскрикнула. — „Ничего, это я раньше вернулся, чѣмъ думалъ.“ И лежу, молчу. Минуту она стояла такъ, будто ничего не понимала. „Что же, — ложись.“ Вдругъ она вся съежилась, легла. Лежимъ, молчимъ, я все къ стѣнкѣ лицомъ. Она рядомъ, и слова не можетъ вымолвить, только сердце колотится, такъ что мнѣ слышно.

Мы лежали съ четверть часа, потомъ мнѣ надоѣло на боку лежать, я повернулся, и теперь луна уже на нее свѣтила, я лицо увидалъ, глаза.

— Гуляла, — говорю. — Съ Бабанинымъ.

Я тѣла ея не тронулъ. Ужасъ въ ней такой былъ, что больше я подобныхъ глазъ не видывалъ.

— Виновата, Николай Ильичъ.

Тутъ я рукой до плеча ея коснулся, голаго плеча, полудѣтскаго. Опять меня огнемъ жигануло. Думалъ я что, нѣтъ ли, не знаю. Рука сама вверхъ прыгнула, къ горлу, она рванулась, а я навалился, и все у меня вверхъ дномъ пошло. Помню только, вся моя сила въ пальцахъ сошлась, и горло ея я сжалъ тисками. Ну, конечно, металась. Но ужъ мнѣ рукъ разжать нельзя было. Крѣпко давилъ. Потомъ все это кончилось.

III

Забыть ли мнѣ эту ночь? Забыть ли минуту, какъ отвалилась назадъ голова Настасьи Романовны, и тѣло перестало биться? Думаю — не забуду никогда, и до гроба мнѣ съ этимъ жить. Буду все же продолжать.

Тихо было въ нашей комнатѣ. Вещи по мѣстамъ стоятъ, какъ обыкновенно, и взглянуть, даже ничего и не случилось, на постели Настасья Романовна, я передъ ней стою въ одномъ бѣльѣ. И такъ я довольно долго стоялъ, плохо понималъ, въ чемъ дѣло. Потомъ вдругъ сталъ одѣваться. Одѣвался медленно, аккуратно, и все старался лучше галстукъ завязать. Помню, въ головѣ слова глупыя вертѣлись, никакъ не отдѣлаешься отъ нихъ: „тачка бачка перебачка, перебачка тачка-ка.“

Подошелъ къ окну, высунулся, свѣжимъ воздухомъ сталъ дышать. Опять коростель кричалъ, но ужъ теперь другой. Звѣзды побѣлѣли. Сталъ въ полутьмѣ разбирать вывѣску на трактирѣ, довольно далеко. Потомъ думаю: „Ну, надо въ полицію.“ А черезъ минуту: „нѣтъ, погодимъ еще.“ И опять вывѣску разбираю: „Треть-я-го раз-ряда, съ прода-же-ю — пит-ей.“

Тутъ, вѣрно, въ родѣ бреда со мной началось. Я какъ будто не сплю, а мыслями не могу управить, точно во снѣ. Чепуха идетъ въ головѣ, шпіонка Кора, какъ она въ трактирѣ сидитъ, а ей говорю: „ай, молодецъ, ну и моло-

децъ шпіонка, прелесть.“ Потомъ еще что-то мнѣ сказать хочется, изъ окна, что ли, выйти, да это трудно. Тяжелая голова, никуда ее не дѣнешь. Или кажется, что лечу какъ курьерскій поѣздъ, а остановиться не могу. „Куда это? Куда?“ Хочу спросить. „Ничего, въ Южную Америку.“ „А какъ же моремъ?“ „Ничего, и моремъ проѣдемъ.“

Наконецъ, собрался съ силами, глаза протеръ, и опять къ кровати подошелъ. „Ну, глупости, ну чего тамъ, это я свою жену убилъ, потому она съ другимъ гуляла.“ И опять я сѣлъ съ такимъ видомъ, будто что настоящее и правильное сдѣлалъ. „Вотъ теперь все и устроилось.“ Я ее поаккуратнѣй уложилъ, руки на груди, и все на нее смотрѣлъ. „Если бъ захотѣлъ, могъ бы и отказаться, скажу — умерла просто, своей смертью.“ „Нѣтъ, не къ чему, сдѣлано, такъ сдѣлано. Скажу: захотѣлъ, и убилъ. Что за это будетъ? Каторга. Только бы про билетъ не узнали, ну, билетъ теперь пропалъ, и зачѣмъ я его въ ящикъ клалъ? Обыскъ сдѣлаютъ — и конецъ. Скажутъ: откуда деньги? Такъ. А я что отвѣчу?“

Такимъ манеромъ я бормоталъ, сидя, и, кажется, все же на часъ заснулъ, тутъ же, въ одной комнатѣ съ покойницей, и все мнѣ представлялась то висѣлица, то глаза Настасьи Романовны изъ за этой висѣлицы на меня взглядываютъ, и она говоритъ: „хорошій билетъ, бумага пріятная. Номеръ пять тысячъ двадцать восемь.“ Еще Ольга Ивановна мнѣ являлась: въ воздухѣ передо мной точно въ окнѣ вагона проѣзжала, и пальчикомъ грозила, улыбаясь. „Левъ Кириллычъ кланяется, третьяго дня померъ, мнѣ пятнадцать тысячъ оставилъ. Не побрезгалъ бы тогда, былъ бы теперь богатымъ.“ „Вретъ, ничего онъ ей не оставлялъ, а всего ей цѣна четвертной билетъ.“

Утромъ, значитъ, ко мнѣ Мишка постучалъ, я отперъ. Помню, онъ назадъ попятился, вѣрно, не очень хорошо я выглядѣлъ.

— Да, Мишка, надо, молъ, въ полицію сходить, я жену убилъ.

Мишка весь сперва затрясся, потомъ въ комнату заглянулъ, увидалъ Настасью Романовну и опрометью вылетѣлъ.

А мнѣ, странное дѣло, послѣ Мишки стало покойнѣй. Точно въ головѣ немного поулеглось. Я подошелъ къ умывальнику, облилъ голову холодной водой, полотенцемъ вытеръ, причесался, и понимать сталъ лучше, что произошло. Опять къ Настасьѣ Романовнѣ — руку ея взялъ. Рука была уже холодная. Я на нее поглядѣлъ, и первый разъ жаль ее сдѣлалось. „Вотъ и убилъ, своего добился. Ужъ теперь не поправишь. Поздно."

Въ это время полиція явилась, а скоро слѣдователь пріѣхалъ, допрашивать меня.

Я немного ужъ собой овладѣлъ, и ему все отвѣчалъ ясно, ни въ чемъ не таился.

Онъ спросилъ:

— Что же вы, и раньше объ этомъ думали, или теперь только дошли, сразу?

Я сказалъ:

— И раньше думалъ. Такъ думалъ, коли спутается съ другимъ, крышка. Я и ей это говорилъ.

— Хорошо. Такъ и запишемъ. А теперь я долженъ васъ арестовать.

Офиціанты на меня смотрѣли, какъ меня съ двумя городовыми внизъ сводили, и всѣмъ, по-моему, страшно было меня видѣть. Я шелъ медленно, довольно спокойно, только трудно было ногами передвигать, потому, я очень усталъ. И на улицѣ на меня глядѣли — многіе здѣсь меня знали, но я не обращалъ вниманія, шелъ посрединѣ улицы, какъ идутъ за гробомъ, да въ тюрьму, и подъ ноги себѣ смотрѣлъ, чтобы половчѣй на камни становиться.

Наконецъ, пришли въ тюрьму. Тюрьма наша, надо сказать, могла называться тюремнымъ замкомъ, потому,

тутъ раньше замокъ былъ польскій, съ башнями, рвами, и только лѣтъ сто ее для нашего брата приспособили, для арестантовъ. Помню, вошелъ я въ нее, сдали меня городовые подъ расписку, увидѣлъ коридоры эти, камеры, и про себя подумалъ: „Вотъ, значитъ, и она, и тюрьма.“

Потомъ я снялъ свое платье, все это въ конторѣ осталось, я надѣлъ арестантскую куртку и штаны, и мнѣ представилось, что сейчасъ мнѣ и голову обреютъ. Но, понятно, этого не сдѣлали, потому я не каторжный былъ, а еще подслѣдственный.

Первое время, какъ вошелъ въ камеру, ничего не могъ понять, очень много было такихъ какъ я, и молодые, и старые, въ одномъ углу ругаются, другіе на окнахъ сидятъ и кричатъ похабщину, вѣрно, въ женское отдѣленіе.

Двое играли въ карты, въ носы. На меня минуту поглядѣли, старикъ какой-то буркнулъ: „нашего полку,“ а потомъ про меня забыли.

Мнѣ это и лучше было. Я сѣлъ на нару, къ стѣнѣ прислонился — стѣна была, какъ сейчасъ помню, холодная. Пріятно къ ней голову привалить. Отъ усталости ли, отъ волненій — все передо мной позеленѣло и поплыло. Я закрылъ глаза. Потомъ и вовсе опустился на нару, и тутъ ужъ все вверхъ дномъ заходило, и такая меня слабость одолѣла, — ни рукой, ни ногой двинуть. Я заснулъ. Спалъ скверно, все время меня какъ на кораблѣ качало, и въ башкѣ опять чепуха тянулась. Все-таки — спать, послѣ такого дѣла, какъ я сдѣлалъ — самое лучшее. Просыпаться хуже, — о, насколько хуже!

Я проснулся вечеромъ поздно, когда уже всѣ спали, въ камерѣ лампочка приспущенная едва свѣтила. Я вскочилъ, силы у меня было довольно, точно навожденіе это, въ которомъ я цѣлыя сутки прожилъ, ужъ прошло, и я теперь опять здоровый. Человѣка убилъ.

За ту ночь, первую въ тюрьмѣ, много могъ я отдать дней, недѣль, только бъ не было ея. Потому, тутъ человѣкъ

уже понимаетъ. Онъ не бредитъ, а заснуть не можетъ. Въ головѣ мельница вертится, кровь стучитъ, точно, правда, въ адскомъ огнѣ горишь. Хочешь о другомъ подумать — куда тамъ, затягиваетъ въ свое: вотъ Настасья Романовна входитъ, на постель ложится, вотъ плечо ея голое. Да, вѣдь, это все прошло ужъ, было. Нѣтъ, не прошло, ты еще съ нимъ поживи. Вотъ — хрящъ, шейка ея хрящаетъ. „Да сама, чортъ возьми, съ Бабанинымъ спуталась, меня опозорила. Я жъ, вѣдь, ей говорилъ, предупреждалъ.“ „Номеръ пять тысячъ двадцать восьмой.“ Это ужъ жандармъ Бабанинъ мой ящикъ въ банкѣ обыскиваетъ. „Билетъ, украденный во время экспропріаціи на станціи. Отлично. Господина буфетчика на перекладину.“ „Это ничего. Перекладина невысоко, я табуретку подставлю.“ „Выдернемъ, милый, выдернемъ!“

Вскакиваешь — нѣтъ, не бредъ, и никого нѣтъ, самъ съ собой говоришь. Ляжешь — все съ начала того несчастнаго дня: какъ въ поѣздѣ ѣдешь, въ банкъ входишь, считаешь билеты, домой ворочаешься.

Свѣтало уже, я сѣлъ на нарахъ, подперевъ руками голову, — и вдругъ мнѣ мысль пришла: „неужели всегда такъ будетъ? неужто не отпуститъ?“ И тутъ мнѣ стало очень страшно, я понялъ, что такое смертная тоска, когда стѣны грызть можно.

Рядомъ старикъ проснулся. Икнулъ, посмотрѣлъ на меня мутнымъ взглядомъ.

— Маешься, парень? Ничего, помайся. По первому разу трудно. А я пятый разъ сужусь, ничего. Привыкъ.

Я на него смотрю и сказать ничего не умѣю.

— Я эти всѣ суды знаю, цѣна имъ грошъ.

Старикъ рукой махнулъ.

— Я самъ рязанскій, а вонъ куды попалъ. — Болтуны, сволочь! Балаболки!

Онъ почесался, зѣвнулъ, и на другой бокъ перевернулся.

„Да, старикъ," думаю: „стало быть, приспособился. Ничего."

Вотъ и мнѣ привыкать приходилось, и я долженъ былъ черезъ то пройти, черезъ что до меня, да и послѣ тысячи людей прослѣдовали.

Съ этой ночи, должно, сталъ я настоящимъ арестантомъ. Первое дѣло, самъ я себѣ представлялся совсѣмъ другимъ, чѣмъ раньше былъ, на свободѣ. Не то что хуже или лучше, а другой, такой, какъ вокругъ десятки сидѣли. Второе — я много началъ думать, и все старался въ своей жизни такое понять, изъ за чего я сюда попалъ.

Выходило такъ, будто очень она меня обидѣла, что сошлась съ Бабанинымъ, а я ее за это и хлопнулъ. Помню, когда я только ее подозрѣвать началъ, то, правда, такъ думалъ, и получалось у меня просто, ясно. А ужъ теперь это все мало мнѣ понятно было: „Вотъ, Льву Кириллычу морфію хотѣлъ, было, подсыпать, — тамъ и никто не обижалъ, а чуть не подсыпалъ." „Ну, а когда съ Яномъ грабить шли, — тоже за что-нибудь отмстить собирался?" Трудно мнѣ было отвѣтить. Понятно, пріятно себя изобразить такъ, что, молъ, за поруганную мужнину честь воздалъ; если бы на этомъ остановиться, такъ и гораздо лучше бъ. А такъ просто себя звѣремъ признать очень даже было противно. Но покоя я не находилъ, — значитъ, сидѣло во мнѣ такое, чего я самъ не разумѣлъ.

И днемъ, и особенно по ночамъ, когда не спалось, занимался я такими размышленіями — что я: совсѣмъ пропащій человѣкъ, или это только такъ, заблужденье одно? Опять голова болѣла, и горѣла; видъ у меня былъ разсѣянный, съ товарищами по тюрьмѣ я мало зналъ, сторонился ихъ, и вокругъ мнѣ какъ-то все равно было; идешь, напримѣръ, къ слѣдователю на допросъ, и на свѣтъ Божій смотришь точно его и нѣтъ, больничнымъ садикомъ проходишь, на деревца взглянешь, или вече-

ромъ, какъ солнце садится, поля позлащаетъ — „ну, и Богъ съ ними, все равно."

Это очень тяжело, понятно, сталъ я какъ-то мертвѣть: себя все меньше за живого считать.

И не знаю, долго ли бъ такъ продолжалось, но тутъ вышло одно происшествіе, и меня очень встряхнуло, всего въ другую сторону толкануло.

Надо вамъ сказать, что въ нашей тюрьмѣ, какъ вездѣ, кромѣ уголовныхъ и политическіе были, и, какъ вездѣ, у политическихъ съ уголовными сношенія шли постоянныя. Они намъ табачокъ иногда доставляли, новости разныя говорили, до нихъ это легче доходило, случалось, и листки разные подбрасывали ихняго направленія. Бывало и такъ, что если они чего требуютъ, мы поддерживаемъ, и обратно. Даже для сношеній у насъ старосты были, съ нашей, и съ ихней стороны, и такъ мы устраивались, что на прогулкахъ, а то и въ камерахъ встрѣчались.

Разъ, значитъ, приходитъ къ намъ ихъ староста, барышня Марья Петровна, и говоритъ: у насъ троихъ къ висѣлицѣ приговорили, на слѣдующую ночь вѣшать, такъ мы протестъ сдѣлаемъ, присоединяйтесь. Дѣло наше правое, потому мы тоже за всѣхъ сюда шли, за народъ, то-есть. Наши дали согласіе.

Тутъ я впервые эту Марью Петровну увидѣлъ и помню, недобро почему-то на нее посмотрѣлъ. Дѣвушка тихая, аккуратная, видно, что за другихъ старается, и сидитъ за другихъ, — очень ужъ отъ нашего брата, записного, далеко все это. „Жалѣетъ насъ небось. Что мы несчастненькіе." И хотѣлось надъ ней посмѣяться, да не вышло, тоскливѣй только стало. „Чего насъ жалѣть, сволочь всякую!" И это вѣрно. Въ то время и къ себѣ, и къ товарищамъ я очень неуважительно отнесся. Такъ мнѣ представлялось — всѣ-то мы шушера, незнамо зачѣмъ на свѣтъ Божій появившаяся. Одно намъ мѣсто — въ этой ямѣ.

Какъ со мной часто бывало, и эту ночь, почитай, что не спалъ совсѣмъ. Я зналъ, что часовъ около трехъ явятся брать смертниковъ, а мы должны во всей тюрьмѣ по этому случаю поднять стукъ и крикъ. „Глупости," лежу и думаю: „ну, подымемъ гвалтъ, а ихъ все равно повѣсятъ. Смыслу никакого нѣтъ." Думать — думаю, а самого чуть не лихорадка треплетъ. И чѣмъ ближе минута, тѣмъ сильнѣе.

Передъ утромъ уже, часовъ около трехъ, — слышно, лошади во дворъ тюремный въѣхали, карета загремѣла, и фонари показались. Значитъ, пріѣхали берутъ. Тутъ, вижу, не я одинъ не спалъ. Всѣ съ мѣстъ повскакали, и къ окнамъ. Сразу же и сигналъ раздался, оттуда, отъ политическихъ. Ну, и наши показали себя. Точно всѣ лишь ждали, какъ бы волю себѣ дать — такой вой подняли, подумаешь, сами стѣны взвыли. Кто табуреткой объ стѣну, кто въ оконную раму, кто объ полъ ногами, фортки поотворили, и во дворъ что ни на есть всякую дрянь кидать стали, въ конвойныхъ, конечно.

— Палачи! — кричатъ. — Душегубы!

Помню, подскочилъ я тоже къ окну, тоже хочу крикнуть — горло сдавливаетъ. А потомъ ничего, прорвало, чуть окна не высадилъ, — силы-то во мнѣ было не мало, и вдругъ она заговорила. Кабы не удержали, право, выхватилъ бы раму и самъ внизъ прыгнулъ. И даже меня удивляетъ, откуда это во мнѣ прыть такая взялась, вѣдь, людей этихъ, смертниковъ, я и въ глаза не видалъ, и что я за заступникъ такой выискался, когда и себя-то уберечь не могъ, и на чужую жизнь польстился? Поди тутъ, разбери!

Какъ-никакъ, скандалъ мы устроили не малый. Даже за войсками хотѣли посылать, стрѣлять грозились. Ну, смертниковъ, понятно, увезли, а мы могли только локти со злобы кусать.

Когда опять уѣхали кареты, и понемногу наши утихли, я на нару свою вернулся, легъ. Шумъ этотъ, ярость моя,

волненіе, разумѣется, мнѣ заснуть не давали. „Увезли,“ думалъ. „Я знаю, гдѣ и вѣшать будутъ, на пустырѣ, у оврага“. „Да можетъ, и они такіе жъ, въ родѣ насъ, грабители?“ „Нѣтъ, это другой коленкоръ.“ „Можетъ, Ольга Ивановна и подстроила, почемъ я знаю.“ „А что съ Ольгой Ивановной дѣлать?“ „Ну, конечно, ее на перекладину туда, туда! А вотъ буфетчикъ такой есть, Николай, его куда жъ?“ „И его вмѣстѣ, отлично. Это который жену задушилъ? Звѣрь, звѣрь, и его туда же!“ Такъ-то вотъ я распорядился, — будто бы собственная кровь меня душила, собственная сила. Опять въ потемкахъ я забарахтался, опять меня дьяволы, значитъ, обступали. Ни туда, ни сюда мнѣ не податься, заливаетъ меня тоска, отчаяніе просто — силъ нѣту. А тутъ опять вижу — лицо Ольги Ивановны — со Львомъ Кириллычемъ, они мимо нашей станціи проѣзжаютъ, за границу, лѣчиться на теплыя воды. „А нѣкоторые, кто умные, кассиры, тысячъ пятьдесятъ въ карманъ, и въ Америку.“ „Ахъ ты стерва, ты, ты моя погибель!“

Самъ не помню какъ вскочилъ, и опять къ окну. Ужъ на дворѣ никого нѣтъ, да и я не за тѣмъ, я теперь не изъ за смертниковъ этихъ, — ихъ, небось, вздернули — я самъ изъ-за себя, у меня голову ломитъ. И вотъ я этой головой объ холодную стѣну самъ за себя колотиться сталъ. Что такое сдѣлать хотѣлъ, — Ольгу ли Ивановну растоптать, себя ли извести, или просто боль унять? Этого ужъ я не знаю. А одно вѣрно — мнѣ потомъ разсказывали, что тутъ же я наземь упалъ, и биться началъ. Такъ что меня насилу уложили, а какъ утро настало — отправили въ госпиталь, безъ памяти. Вотъ въ этомъ госпиталѣ я и очнулся, наконецъ, не знаю на какія сутки.

Помню, снѣгъ ужъ выпалъ, бѣло все было за окномъ, въ садикѣ деревья запушены, и на вѣткѣ галка сидѣла, носъ себѣ чистила. Я очнулся, — потрогалъ свою руку. Рука худая и желтая, поднять ее трудно, и самъ я какъ

будто меньше сталъ, и такъ тихо, кругомъ, какъ давно не бывало. Лежатъ больные, докторъ идетъ — какъ разъ обходъ былъ; сидѣлка въ бѣломъ — и все показалось покойно, хорошо. Я сразу вспомнилъ, кто я, зачѣмъ сюда попалъ, и что меня ждетъ. Я закрылъ глаза. „Вотъ бы такъ заснуть, да совсѣмъ, совсѣмъ бы не просыпаться!“ Это въ первый разъ я смерти такъ захотѣлъ. Но мнѣ даже хорошо было. Ни тоски, ни отчаянья, а просто, очень я усталъ — потянуться бы, вздохнуть — и успокоиться.

Когда докторъ ко мнѣ подошелъ, и я глаза открылъ, то въ нихъ слезы стояли.

— Ну, — сказалъ докторъ. — Наконецъ-то. Пора, а то ужъ мы и не знали, что съ вами дѣлать.

Осмотрѣлъ меня, температуру смѣрилъ. Ничего, все въ порядкѣ. Онъ на меня глядѣлъ, понятно, какъ на одного изъ десятковъ, болѣвшихъ здѣсь, ему особеннаго дѣла до меня не было. А для меня опять другая жизнь началась — и не та, какую до тюрьмы велъ, и не та, что въ тюрьмѣ.

Черезъ недѣлю я вставалъ ужъ. Ходилъ чуть-чуть, еле ноги передвигая, и даже было смѣшно: точно бы я младенецъ, ходить учусь, или бъ я гораздо своихъ лѣтъ старше: такъ мнѣ представлялось, что я лѣтъ на десять постарѣлъ, и все, что со мной до тюрьмы происходило, ужасно какъ было давно. Скажемъ: въ молодости когда-то я съ Ольгой Ивановной жилъ, мошенничествами занимался, убилъ жену. И все я хотѣлъ вспомнить, когда же я женщину-то любилъ? Ну, тоже не могъ добраться.

Тутъ, между прочимъ, познакомился я ближе съ Марьей Петровной, политической, которая къ намъ тогда приходила. Марья Петровна тоже въ госпиталь попала послѣ тогдашней исторіи — руку себѣ ухитрилась вывихнуть. А сама она была фельдшерица и когда оправилась немного, ходить ужъ могла, то стала сидѣлкамъ помогать, и какъ докторъ у насъ человѣкъ былъ порядочный, то медлилъ ее выписывать: понятно, она полезный была человѣкъ.

Такъ что и къ намъ въ палату она доступъ имѣла, и въ коридорѣ мы съ ней встрѣчались. Я ужъ говорилъ, что первый разъ, какъ ее увидѣлъ, недобро къ ней отнесся, недовѣрчиво. Ну, немного этого и здѣсь осталось, но ужъ именно немного. Потому, что довольно скоро я разобралъ: напротивъ, очень къ ней надо быть добрымъ. Это дѣвушка впрямь хорошая, безъ всякихъ штукъ, душевный человѣкъ. Мы сперва съ ней разговаривали о пустякахъ, а потомъ само собой вышло, спросила она и о главномъ. И очень просто спросила:

— Ну, а что, говоритъ, вамъ свою жену жаль?

Исторію мою, то-есть, за что сижу, она давно ужъ знала. Я тоже довольно давно понялъ, что это полоуміе было, что я ее убилъ. Только ей почему-то не сказалъ. Отвѣтилъ:

— Она сама шла на то.

Марья Петровна поглядѣла на меня молча, — глаза у ней были большіе, каріе, и головкой покачала.

Нѣсколько дней мы объ этомъ не затрагивали, а потомъ я разъ какъ-то проговорился.

— Вы, Марья Петровна, меня врядъ ли можете понять. Вы дѣвушка чистая и благородная, а я хамъ, и жизнь у меня вся была хамская, и понятія хамскія, гдѣ жъ намъ столковаться? Я для васъ, конечно, извергъ, да что подѣлать.

— А какая-жъ такая, говоритъ, у васъ была жизнь, что я ее понять не могу?

Тутъ я поразмыслился.

— А вотъ такая. Хотите узнать — извольте. Могу кое-что разсказать.

И, правда, я ей много изъ своей жизни разсказалъ, и видѣлъ, что, напротивъ, многое понимаетъ, и отъ меня даже не отвертывается.

— Я такъ и знала, отвѣчаетъ, что не сразу вы до этого дошли.

Видишь ты какая: молоденькая, тихая, а такія вещи понимаетъ!

Ну, стала она мнѣ тутъ говорить и то, за что ихъ въ тюрьмы и ссылки отправляютъ. Но только не бахвалилась этимъ, ничуть, что, молъ, мы вотъ какіе, а вы разъэдакіе. Просто разсказывала, что они дѣлаютъ, чего добиваются. И ей казалось, что даже скоро добьются. Я слушалъ, мнѣ занятно было, только все это для меня чужое. То-есть, я понимаю, что такіе люди находятся, которые не только того не желаютъ отъ жизни, чего я, напримѣръ, да и большая часть хочетъ, а напротивъ, наперекоръ своему счастью идутъ, и кончаютъ дни то ли на висѣлицѣ, то ли Богъ знаетъ гдѣ, въ Сибири.

Такіе есть, и даже, вѣрно, много изъ нихъ хорошихъ людей, какъ и Марья Петровна. Да я то не ихній. Я совсѣмъ по другому жилъ, значитъ, мнѣ и дорожка другая.

Я такъ Марьѣ Петровнѣ и высказалъ.

Она согласилась.

— Конечно, говоритъ. Я васъ въ нашу вѣру и не собираюсь обращать.

А я ухмыляюсь.

— Я, вѣдь, Марья Петровна, пропащій человѣкъ.

Она минуту подумала.

— Только вы себя напрасно тѣмъ раздражаете, что все у васъ: хамъ, да пропащій, и тому подобное. Понятно, вы много надѣлали... всякаго. Ну, теперь и разсчитываться надо. Мало ли что: вы здоровый человѣкъ, еще молодой, вамъ надо цѣлую жизнь еще жить, такъ старайтесь какъ-нибудь заслужить. А то пропащій, да пропащій. Такъ и взаправду пропасть можно.

— Что жъ я по-вашему дѣлать долженъ, Марья Петровна?

— Ну, — она отвѣтила — и даже глаза ея заблестѣли — я васъ учить не могу, а все же одно навѣрно знаю. Покаяться должны вы, во-первыхъ. Вонъ вы мнѣ тогда

сказали, что сама ваша жена и заслужила свою смерть — стало быть, вамъ ее не жалко, и вы думаете, что вы правы. Пока вы думаете такъ, вамъ очень тяжело будетъ. А пожалѣете, станетъ легче.

— Эхъ, Марья Петровна, Божья душа невинная: я давно ужъ знаю, что правъ не былъ, и тогда, понятно, вамъ сказалъ по гордости. И пожалѣлъ Настасью Романовну я давно, и все жъ таки со своей жизнью скоро не расквитаешься. Очень много нажито, плечи давитъ-съ!

Однако, все же благодарю Божью душу. Все же со мной такъ не говорилъ доселѣ никто, и эти разговоры большое на меня оказали дѣйствіе.

Я былъ очень доволенъ, что попалъ въ госпиталь, да и не я одинъ: всѣ, кто лежали, очень не хотѣли выписываться, многіе даже доктора просили подольше ихъ задержать. Я не просилъ. Марья Петровна вернулась за нѣсколько дней до меня. Помню, послѣднюю ночь, когда тамъ ночевалъ, долго не могъ заснуть. Такъ, раздумался, сталъ представлять, что со мной впереди будетъ, какъ въ тюрьмѣ стану жить, въ Сибирь пойду. Меня это, не могу сказать, не пугало. „Значитъ, и въ острогѣ побудемъ, и на каторгѣ. Что жъ, ничего. Всего попробуемъ.“

Но потомъ на сердцѣ моемъ стало легче, и какъ будто я даже разстроился, въ нѣжность какую-то впалъ. Все мнѣ хотѣлось вспомнить что-нибудь очень хорошее, трогательное въ своей жизни, что меня бы согрѣло. Трудно было это выбрать. Все же я размягчился, и помню, глаза у меня стали мокрые.

IV

Я покойно держался на судѣ. Мнѣ даже довольно занятно было разсматривать присяжныхъ, судей, публику (народу, впрочемъ, было мало). Немного мѣшали конвойные съ шашками. У нихъ были такія лица, точно я

убѣгу. А куда мнѣ бѣжать? Я даже совсѣмъ не собирался бѣжать.

Дѣло мое разобрали быстро, потому что оно было ясное. Я все разсказалъ просто, и не скрываясь. Не упомянулъ только, что деньги получилъ съ экспропріаціи: на висѣлицу мнѣ не хотѣлось, но долженъ сказать, что прежняго страху, ужаса, что, бывало, волосы холодѣютъ, я теперь не испыталъ. „Коли уличатъ, то и помремъ, а самъ въ петлю не полѣзу" — такъ я, примѣрно, разсуждалъ. Впрочемъ, почему-то на деньги мои вниманія не обратили: было ихъ въ ящикѣ полторы тысячи, и я объяснилъ, что часть съ собой изъ Москвы привезъ, а большую половину на вокзалѣ заработалъ. На номеръ моего билета не взглянули.

Защитникъ мой — отъ суда, молодой человѣкъ, говорилъ, что я убилъ жену въ припадкѣ ревности. Господинъ прокуроръ сказалъ все ему наперекоръ, но не очень на меня насѣдалъ. Потомъ меня спросилъ предсѣдатель:

— Не имѣете ли чего сказать, подсудимый?

Я передъ этимъ задумался и не разслышалъ его словъ.

Онъ еще разъ спросилъ. Я вскочилъ, понялъ, что невѣжливо обошелся, и растерялся немного. Я ничего не приготовилъ отвѣтить и замялся. А затѣмъ сразу успокоился. Поклонился низко присяжнымъ.

— Виноватъ, кругомъ. Моя вина!

И сѣлъ. Присяжные недолго совѣщались, и приговоръ вынесли: виноватъ, но со снисхожденіемъ. Вышло мнѣ — на четыре года въ каторгу, а потомъ на поселеніе.

Помню, когда изъ суда меня выводили, ясный былъ мартовскій день. На асфальтѣ у подъѣзда лужа блестѣла, воробьи бѣсились. Какая-то старушонка подала мнѣ двѣ копейки. Я ей тоже поклонился, какъ присяжнымъ, въ поясъ.

Послѣ этого меня довольно скоро съ партіей отправили въ Сибирь, черезъ Москву. Тамъ насъ почему-то задержали, два дня мы прожили въ Бутыркахъ. Уже была весна, тепло, и когда изъ Бутырокъ насъ гнали на Курскій

вокзалъ, пыль подымалась на Долгоруковской. Мы шли въ кандалахъ, цѣпочки наши позванивали. Хоть никого у меня въ Москвѣ не было своихъ, кромѣ-мамаши на кладбищѣ — все же мнѣ казалось, что кого-нибудь встрѣчу, изъ знакомыхъ. Но никого не встрѣтилъ. Когда подошли къ Страстному, вдругъ мнѣ захотѣлось на минуту свернуть къ Тверскому бульвару, взглянуть на домъ, гдѣ я родился, росъ, съ мамашей ко всенощной ходилъ, къ Іоанну Богослову, съ отцомъ вздорилъ: но нельзя было, понятно. Мы взяли налѣво, вдоль бульваровъ. Я взглянулъ на главы Страстного монастыря, снялъ шапочку и перекрестился.

На Курскомъ вокзалѣ, оказалось, съ нами отправляютъ партію политическихъ, изъ нашего же города, только они позже выѣхали. Между прочимъ, здѣсь и Марья Петровна была. Я этому очень обрадовался, она меня узнала и изъ окна платочкомъ помахала.

Мы и дальше весь путь, можно сказать, рядомъ совершили. Долгій это путь — ѣхали и по желѣзной дорогѣ, и на баркѣ плыли, и пѣшкомъ шли. Зашли мы очень далеко, почитай на край свѣта.

. . . . . .

Всей жизни своей не опишешь. Скажу коротко. Четыре года я пробылъ на каторгѣ, и случилось, что и Марья Петровна отбывала свое наказаніе тамъ же. Это для меня вышло очень хорошо, и за то время, какъ я ее зналъ, я очень успѣлъ ее полюбить. Разумѣется, не той любовью, но просто какъ чистаго, славнаго человѣка. Сошелся я кой съ кѣмъ и еще изъ политическихъ — тоже попадались люди выдающіеся. Оказался тутъ и Андрей Иванычъ, мой первый учитель. Онъ очень постарѣлъ. Но остался человѣкомъ крѣпкимъ, мужественнымъ. Ко мнѣ отнесся со вниманіемъ, и такъ прибавлю: съ сожалѣніемъ. Только на его сожалѣніе я не обижался, потому, онъ на него право имѣлъ. Разъ онъ мнѣ сказалъ: „Эхъ, Николай, чувствовалъ я, что ты съ пути собьешься, на дурную дорогу

попадешь. А взять бы тебя въ руки настоящія съ дѣтства, можетъ, что изъ тебя бы и вышло.“ Потомъ помолчалъ, и прибавилъ: „Впрочемъ, путей нашей жизни никто не знаетъ. Ты не подумай, что я тебя въ чемъ-нибудь упрекаю.“

Но меня трудно было уже раздражить упрекомъ. Я очень измѣнился. И на каторгѣ я старался держаться образованныхъ, политическихъ, а когда поселенцемъ сталъ, то сошелся съ ними еще ближе. Много помогала мнѣ Марья Петровна. Я иногда вспоминалъ наши разговоры съ ней въ госпиталѣ, и хотя очень ясно понималъ, какъ неправильна была жизнь, которую велъ въ молодости, и которая привела меня сюда: хотя очень даже жалѣлъ покойную Настасью Романовну и осуждалъ себя въ высшей степени за насиліе надъ ней — все же смыть своего грѣха я не могъ. Я чувствовалъ, что Андрей Иванычъ, Марья Петровна, Никифоровъ (это ея женихъ былъ) — пришли сюда съ открытой душой, за правду, а на мнѣ навсегда останется тягота. Это и не можетъ быть иначе, понятно. Я не могу сейчасъ смѣяться беззаботно, какъ малое дитя, потому что во мнѣ нѣтъ святой невинности этого дитяти.

Въ настоящее время, когда я достигъ зрѣлаго возраста, врядъ ли кто узналъ бы во мнѣ прежняго кутилу экспропріатора и убійцу. Это все умерло. Говорятъ, я кажусь сумрачнымъ, и серьезнымъ человѣкомъ, Марья Петровна укоряетъ меня лишь за одно, за пристрастіе къ Библіи, которое у меня появилось. Она иногда подсмѣивается надо мной, говоритъ, что я, пожалуй, готовлюсь въ старообрядческіе начетчики. Я ее понимаю, и не обижаюсь. Если бы она прожила мою жизнь, быть-можетъ, она думала бы по-другому, и какъ я, возвращалась бы нерѣдко къ псалмамъ Давида. Ибо для сердца, прошедшаго сквозь печаль и мракъ, всегда близки будутъ слова псалмопѣвца. Вмѣстѣ съ нимъ и я скажу въ заключеніе о себѣ и всей своей жизни: „Помилуй мя Боже, по велицѣй милости Твоей, и по множеству щедротъ Твоихъ.“

СТУДЕНТЪ БЕНЕДИКТОВЪ

I

Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный.
Пушкинъ.

Дождь кончился. Въ проглянувшемъ солнцѣ летѣли еще рѣдкія капли, сіяя и блестя. Изъ сада въ комнату Бенедиктова потянуло тѣмъ нѣжнымъ, очаровательнымъ запахомъ, что бываетъ послѣ іюньскаго дождя.

Бенедиктовъ снялъ очки. — Лева, вы можете идти, на сегодня довольно.

Свѣтловолосый мальчикъ Лева, ученикъ Бенедиктова, сложилъ свои тетрадки и захлопнулъ латинскую грамматику.

— Вечеромъ ѣдемъ на пикникъ, ловить раковъ. Зина собирается верхомъ. Вы тоже съ нами?

Бенедиктовъ слегка нахмурился.

— Нѣтъ, — отвѣтилъ онъ, съ неестественной внимательностью поправляя письменный приборъ. — Я сегодня не поѣду.

Когда Лева ушелъ, Бенедиктовъ сѣлъ къ столу и задумался. Въ ящикѣ стола лежала начатая работа о Францискѣ Ассизскомъ, а подъ локтемъ — книги Сабатье, Ергенсона, „Fioretti“ и др. Бенедиктовъ находился въ небольшомъ флигелѣ барской усадьбы; онъ былъ влюбленъ въ Зину, сестру своего ученика, и такъ какъ былъ некрасивъ и измученъ неудачной любовью, то рѣшилъ этой ночью застрѣлиться.

Черезъ минуту онъ всталъ, надѣлъ ветхую студенческую фуражку, взялъ палку и, слегка сгорбившись, вышелъ. Тяжелая юность, одиночество, работа давали себя знать: Бенедиктовъ выглядѣлъ старше своихъ лѣтъ. Лобъ его былъ великъ, и небольшіе глаза, сидѣвшіе глубоко, — хотя и близорукіе, — выдавали страстность характера и склонность къ экстазу.

Онъ шелъ по узенькой аллейкѣ въ вишенникѣ, среди сіявшей каплями чащи. Съ вишенъ срывались воробьи, его обрызгивало жемчугами, алмазами. Налѣво, съ площадки лаунъ-тенниса, доносились голоса. Бенедиктовъ зналъ, что это играетъ Зина съ пріѣзжимъ лицеистомъ. И онъ ускорилъ шагъ: хотѣлось пройти, пока они не кончили, чтобы не встрѣтиться.

Дорожка провела его вблизи лужайки. Сквозь порѣдѣвшіе кустарники онъ видѣлъ, какъ за сѣткой бѣгала въ бѣломъ платьѣ Зина, раскраснѣвшаяся и горячая. Его же не замѣтили.

Бенедиктовъ перелѣзъ черезъ канаву и вышелъ въ луга. Эти луга были необозримы. Они тянулись на десятки верстъ, какъ нерѣдко бываетъ въ Рязанской губерніи, и сейчасъ по нимъ стояли копны — знаменитѣйшее русское воинство. Отъ великихъ луговъ, какъ отъ неба, и моря, въ душѣ остается ощущеніе покоя. Но Бенедиктовъ его не чувствовалъ. Онъ шелъ не затѣмъ, чтобы наслаждаться вечерней прелестью равнины. У него была цѣль. Онъ направлялся къ корнету Гавронскому, хуторокъ котораго виднѣлся въ двухъ верстахъ, племяннику его хозяевъ, человѣку безпутному, нелѣпому, пьяницѣ и собачнику.

II

Солнце уже садилось, когда онъ подходилъ къ домику Гавронскаго. Бенедиктовъ снялъ фуражку, отеръ лобъ. „Посижу нѣсколько минутъ, скажу, что револьверъ мнѣ

нуженъ, чтобъ упражняться въ стрѣльбѣ, и уйду.“ И хотя все выходило гладко, его что-то тѣснило.

Смущался онъ не напрасно. Все произошло не такъ, какъ онъ предполагалъ. Во-первыхъ, на него бросилась пара борзыхъ. Они атаковали его съ жаромъ, и если бы не Гавронскій, выскочившій въ однѣхъ рейтузахъ изъ денника, гдѣ мылъ любимую кобылу, ему пришлось бы плохо. Гавронскій громоносно заоралъ на собакъ, не сразу сообразилъ, кто пришелъ, но догадавшись, вскрикнулъ:

— А! Весьма радъ видѣть! Извиняюсь, что не могу подать руки, застаете за хозяйствомъ, чортъ бы его побралъ со всѣми этими кобылами! Предпочелъ бы, чтобъ лошадь мнѣ мылъ конюхъ, но что подѣлать? Я тутъ Робинзономъ. Видите? Все мое хозяйство.

Волосатой рукой съ засученнымъ рукавомъ онъ бѣгло указалъ свое хозяйство. Правда, оно было скудно. Въ ожиданіи наслѣдства Гавронскій жилъ въ избенкѣ, сколоченной изъ плохонькаго лѣсу. Рядомъ конура для собакъ, жиденькій сарайчикъ, какой-то шалашъ и небольшой огородъ. Всюду щепки. Съ задняго крыльца выглядывалъ мальчишка.

Они прошли въ первую комнату, гдѣ были слѣды человѣческаго жилья — нѣсколько мягкихъ креселъ, диванчикъ, фотографіи. Бенедиктовъ сѣлъ, а Гавронскій извинился и вышелъ за перегородку: тамъ онъ плескался въ водѣ и фыркалъ.

Бенедиктовъ осмотрѣлся. На стѣнѣ висѣла медвѣжья шкура, надъ ней оленьи рога, и развѣшано оружіе: кавказская сабля, винтовка, двухстволка и пара револьверовъ. Увидѣвъ револьверъ, Бенедиктовъ насупился. Не то, чтобъ онъ боялся смерти. Онъ много о ней думалъ въ послѣднее время. Но все же у него на сердцѣ похолодѣло. „Глупыя нервности, глупыя нервности.“ И онъ побарабанилъ по столу.

Въ это время вошелъ Гавронскій. Онъ былъ расчесанъ на боковой проборъ, даже взбрызнутъ духами, но глаза его безпокойно горѣли, и во всемъ немъ было возбужденіе, нервный подъемъ.

— Хорошо, что вы пришли ко мнѣ. Отлично. Во-первыхъ, я всегда одинъ, какъ чортъ, это меня утомляетъ, и я готовъ бить сукина сына Яшку. Во-вторыхъ, тутъ довольно удивительная исторія, и я не я будь, если вы въ ней не примете участія!

Гавронскій подошелъ къ шкафику, замѣнявшему буфетъ, и досталъ бутылку коньяку.

— Это не то, я не про коньякъ, — бормоталъ онъ. — Коньякъ мы выпьемъ вмѣстѣ, само собой разумѣется. — Я говорю про другое, гор-раздо болѣе интересное и важное. Пейте!

Бенедиктовъ отказался.

— Если что-нибудь нужно, я могу помочь, сколько въ силахъ.

— Ну, конечно, сейчасъ видно порядочнаго человѣка. Мало васъ знаю, нѣсколько разъ у Зинки встрѣчалъ, но сразу понялъ: настоящій. При этомъ, — Гавронскій наливалъ себѣ еще коньяку, — я увѣренъ, что вы сочувствуете дѣламъ любви? А? Вѣрно?

Бенедиктовъ менѣе всего ждалъ такого вопроса.

— Почему? — спросилъ онъ. — Почему я долженъ сочувствовать дѣламъ любви?

— Ну, не долженъ, это я такъ, просто потому... — Гавронскій вскочилъ, схватилъ фотографію дамы и сунулъ Бенедиктову.

— Кумиръ, восторгъ, любовь! Для нея жизни не пожалѣю. Скажетъ: Гавронскій, высунь языкъ, бѣги за экипажемъ въ пыли пять верстъ — побѣгу. Сдѣлай подлость — сдѣлаю.

Онъ налилъ себѣ еще рюмку, поерошилъ волосы и нѣсколько успокоился:

— И душу свою погублю. Я живу на этомъ хуторишкѣ, какъ идіотъ, какъ балда. Если, — прибавилъ онъ трагически, — у меня отнять любовь, то мнѣ останется самоубійство.

Бенедиктовъ отложилъ карточку и угрюмо буркнулъ:

— Если вы любите, то это, конечно, прекрасно.

— Да, да, милый, я вамъ не договорилъ, — оживился Гавронскій. — Вы ничего въ моихъ дѣлахъ не понимаете... — Онъ на минуту замялся. — Но видъ вашъ внушаетъ довѣріе, хотя, кажется, вы заняты другимъ.

Онъ опять налилъ себѣ коньяку.

— Вы попали ко мнѣ удивительно, уди-ви-тель-но!

Въ это время вошелъ Яшка.

— Петръ Сергѣичъ, хвосты лошадямъ подвязать?

— Вотъ, вотъ, видите? — Гавронскій кивнулъ Яшкѣ утвердительно. — Вы попали ко мнѣ въ тотъ самый день, когда... Ну, словомъ, это замужняя женщина, и я сегодня вечеромъ ее увезу. Поняли? Мы бѣжимъ. Я поселяю ее въ своей скромной избушкѣ, и это будетъ восторгъ, блаженство. Понимаете ли вы меня, я васъ спрашиваю?

— Понимаю, — Бенедиктовъ не могъ не улыбнуться.

— Вы же будете моимъ, такъ сказать, шаферомъ. Кромѣ того, — прибавилъ онъ таинственно, — вы равнодушны къ опасностямъ? Ее стерегутъ, и мы должны вооружиться. Но я увѣренъ, что вы не трусъ.

Бенедиктовъ чувствовалъ, что наполовину все это правда, наполовину чепуха: но къ собственному удивленію ничего не возразилъ.

Гавронскій торопливо надѣлъ бѣлый китель, причесался. Бенедиктовъ всталъ.

— Хорошо. — Я возьму этотъ револьверъ.

И онъ снялъ его со стѣны, положилъ въ карманъ. „Вотъ, все само и устраивается. Не надо даже предлога искать.“

— Ладно, — говорилъ Гавронскій, — посидите на крыльцѣ, я одну минуту, взгляну, какъ тамъ Яшка съ лошадьми управился.

Оба они вышли. Бенедиктовъ сѣлъ и полузакрылъ глаза. Въ головѣ его мутилось, по всему тѣлу разливалась слабость, граничащая съ оцѣпененіемъ.

„Я поѣду съ нимъ, а потомъ уйду, куда-нибудь въ луга, подальше, и тамъ все кончится.“ Онъ потрогалъ себѣ голову, руки, погладилъ колѣнку. „Большая голова, большое тѣло, и страшно некрасивъ, чуть не уродъ. Такихъ надо истреблять. Мое положеніе фальшиво: и вообще, и относительно Зинаиды.“

Тутъ Бенедиктовъ густо помалиновѣлъ. Онъ зналъ навѣрно, что Зинѣ физически почти противенъ. Онъ слегка застоналъ, и опустилъ руку въ карманъ, гдѣ лежалъ револьверъ. Быть-можетъ, здѣсь же, на крыльцѣ домишки Гавронскаго, ожидавшаго черезъ два часа счастья, онъ прострѣлилъ бы себѣ черепъ, но тутъ подбѣжалъ хозяинъ.

— Готово! — Ѣдемъ. Э, да какъ вы блѣдны!

— Я не особенно хорошо себя чувствую. Вѣроятно, отъ этого.

— Моментъ! Мы знаемъ средство, какъ говорятъ поляки.

И Гавронскій снова притащилъ коньяку.

— Пейте, цѣлый стаканчикъ, сразу!

И онъ налилъ полную серебряную чарочку.

— Для храбрости, имѣйте въ виду!

Бенедиктовъ на этотъ разъ выпилъ. Ворота сарайчика растворились, и на караковой парѣ подкатилъ Яшка.

— Садитесь, — кивнулъ Гавронскій, — револьверъ взяли? Отлично.

Бенедиктовъ сѣлъ медленно, Гавронскій заперъ на ключъ свое логово, и легко вскочилъ съ лѣвой стороны. Яшка дернулъ, они покатили.

Передъ ними пылалъ закатъ, направо уходили вдаль луга, и отъ быстрой ѣзды Бенедиктова душило прянымъ, дивнымъ воздухомъ. Коньякъ нѣсколько опьянилъ его. Авантюра, куда увлекалъ его Гавронскій, быстрый бѣгъ лошадей, кровавый закатъ — все это было странно. Бенедиктовъ какъ-то недоумѣвалъ.

— Стой! — закричалъ вдругъ Гавронскій Яшкѣ. — Стой, слѣзай!

Яшка пріостановилъ лошадей.

— Ѣхать не умѣешь. Садись съ бариномъ, вожжи давай.

И онъ перемахнулъ на козлы, а Яшка все-таки не сѣлъ къ Бенедиктову: онъ потѣснился на козлахъ и неохотно далъ вожжи Гавронскому.

Дѣйствительно — разница вышла большая. Гавронскій хлестнулъ, гикнулъ, и такъ одернулъ коренного, что тотъ сразу подхватилъ вскачь. Дорога, луга, копны, закатъ, все сливалось теперь для Бенедиктова въ мчащійся калейдоскопъ, напоенный запахами, звуками.

— А? — обернулся Гавронскій. — Здорово? Слушайте: если Вѣра сегодня не выйдетъ, я пулю себѣ въ лобъ пущу, клянусь!

Фуражка его съѣхала на бокъ, онъ сидѣлъ на облучкѣ, заложивъ ногу за ногу, и, глядя на него, казалось, что ему дѣйствительно ничего не стоитъ слетѣть внизъ, подъ колеса ли телѣжки, или въ оврагъ, все равно.

— А вы не боитесь? Штатскій? Студентъ?

— Ничего я не боюсь. Гоните!

Дорога шла теперь немного подъ гору, они сдѣлали поворотъ, и что есть духу понеслись внизъ къ рѣчкѣ, на мостикъ безъ перилъ.

— Э-эхъ! милая, не выдавай!

Бенедиктовъ спокойно глядѣлъ на этотъ несшійся навстрѣчу ложокъ. Онъ ни о чемъ не думалъ, но, вѣроятно, все его существо смутно летѣло туда же.

Коренникъ разсчиталъ вѣрно, умѣстилась и пристяжка, и прогрохотавъ по жиденькимъ мостовицамъ, они выскочили на песчаный берегъ. Лошади пошли шагомъ — въ горку.

Гавронскій, снялъ фуражку и полуобернулся. — Я загадалъ, если благополучно, значитъ, Вѣра выйдетъ.

— Да, — Вѣра, конечно, выйдетъ.

Бенедиктовъ не зналъ и самъ, почему такъ отвѣтилъ. Но въ эту минуту былъ дѣйствительно увѣренъ, что къ Гавронскому непремѣнно должно выйти Вѣра.

„Онъ ее броситъ черезъ полгода, или черезъ мѣсяцъ, но сейчасъ она выйдетъ.“

Гавронскій отиралъ со лба потъ, на лошадяхъ бѣлѣла пѣна и онѣ тяжело дышали. Пламень въ небѣ унялся. Онъ перешелъ въ темный пурпуръ; а на другой сторонѣ небо стало фіолетовымъ и въ немъ зажглась первая звѣзда. Гдѣ-то въ лугахъ засвѣтился огонекъ. Потянуло влагой, туманомъ. Кричалъ дергачъ. Два перепела заливались въ хлѣбахъ.

Гавронскій сталъ вдругъ молчаливъ и мраченъ. Правда, его безпокоило, выйдетъ ли Вѣра. Онъ уже не кричалъ, не гикалъ, и до самаго щербатовскаго парка ѣхалъ шагомъ, не проронивъ ни слова.

III

Щербатовскій паркъ былъ огороженъ плетнемъ и однимъ бокомъ выходилъ на большую дорогу.

На углу, въ заборѣ была сдѣлана калитка, и рядомъ скамеечка. Еще издали замѣтилъ Гавронскій на ней бѣлую фигуру: — Вѣра! — Боже мой, что за женщина. — Послушайте, — обратился онъ къ Бенедиктову, — вамъ придется сѣсть на козлы съ Яшкой. Ничего?

На ходу они помѣнялись мѣстами. Бенедиктовъ, улыбнулся. „Если-бъ я собрался увозить Зинаиду, — или даже

назначить ей свиданіе, это было бы смѣшно и пошло. А тутъ ничего."

Яшка подъѣхалъ совсѣмъ тихо. Фигура отдѣлилась, Гавронскій соскочилъ и бросился къ ней. Черезъ минуту неизвѣстная Вѣра сидѣла уже въ телѣжкѣ, задыхаясь отъ волненія. — „Только скорѣй, пожалуйста. Могутъ хватиться." — Яшка тронулъ, Бенедиктовъ вновь схватился за скобу, но не оглянулся.

Кто такая эта Вѣра, онъ не зналъ. „Пусть приметъ меня за лакея Гавронскаго. Это не важно." — Сзади, за спиной у него молчали, и, какъ слышно было, цѣловались. Бенедиктовъ снова усмѣхнулся. „Я увожу какую-то Вѣру, для какого-то Гавронскаго, сижу ночью на козлахъ, и мы скачемъ въ темнотѣ, въ неизвѣстномъ мнѣ мѣстѣ. Все давно надо было кончить. Да, они ѣдутъ и цѣлуются, не подозрѣвая, что у меня въ сердцѣ смерть."

Онъ вздохнулъ и незамѣтно для себя сказалъ:

— Нужны ли кому мои страданья? — Никому!

Гавронскій встрепенулся.

— А? Да, Вѣра, позволь тебя познакомить. Это мой новый другъ, студентъ Бенедиктовъ.

Бенедиктовъ обернулся и снялъ передъ Вѣрой ветхую фуражку.

— Здравствуйте. Я васъ не знаю. Но пусть будетъ счастливъ вашъ приходъ въ жизнь Гавронскаго.

— Вы такъ говорите, — отвѣтила Вѣра, — точно вы поэтъ.

— Нѣтъ, я не поэтъ. Я репетиторъ, здѣсь, въ имѣніи.

— Ну, навѣрно, пишете стихи, — туманно пробормотала Вѣра, и опять прислонилась головой въ свѣтлой шали къ плечу Гавронскаго.

— Бенедиктовъ, — обратился Гавронскій уже на ты, какъ къ старому пріятелю: — не отнѣкивайся, навѣрно, пишешь. Почему ты такъ мраченъ?

Возвращались другой дорогой — въ объѣздъ. Это сдѣлано было по стратегическимъ соображеніямъ: Гавронскій ждалъ погони со стороны мужа, земскаго начальника Павлова. Потому и направлялись къ перевозу черезъ Оку.

Яшка гналъ опять сколько могъ, и скоро они очутились у парома.

Къ удивленію, паромъ оказался у этого берега, и даже въ караулкѣ паромщика свѣтилъ огонекъ. На стукъ телѣжки вышли двое перевозчиковъ. Вѣра закуталась съ головой.

Когда вынули жердь, лошади опасливо ступили на танцующій помостъ. Колеса забарабанили и остановились, гдѣ покрѣпче. Жердь заложили и взялись за канатъ. Слѣзъ и Бенедиктовъ и сталъ рядомъ съ паромщикомъ, шагъ за шагомъ двигаясь за нимъ — они тащили канатъ. Слегка поплескивая, паромъ тронулся. Впрочемъ, этого нельзя было замѣтить. Пахло рѣкой, мѣрно лопотало что-то у плота, лошади пофыркивали. Рѣка совсѣмъ тихая, тонкій паръ надъ ней, но все же видны отраженья звѣздъ, расходящаяся рябь за паромомъ ломаетъ ихъ, они танцуютъ.

Идя за канатомъ, взявшись за лямку, Бенедиктовъ смотрѣлъ на стальную поверхность рѣки. Въ безчисленныхъ звѣздахъ, дальнемъ гиканьѣ выпи, въ отмели, смутно бѣлѣвшей, была тоска. Близость Вѣры, чѣмъ-то напоминавшей Зинаиду, сдѣлала тоску еще пронзительнѣй. Вспомнивъ мученія послѣднихъ недѣль, Бенедиктовъ бросилъ канатъ и подошелъ къ другому борту. Какъ вѣчная фантасмагорія, бѣгучій обманъ, струилась передъ нимъ вода, и струи казались волшебнымъ и лживымъ сновидѣніемъ. „Да,“ — думалъ онъ, — „къ чему страдать, безцѣльно терзаться въ ловушкѣ? Все ложь.“ И холодѣющая его рука опустилась въ карманъ. Онъ взялъ револьверъ, но тутъ же съ огненной ясностью почувствовалъ, какъ трудно

поднести его къ виску. Онъ слегка охнулъ и скрипнулъ зубами.

Паромъ ткнулся о берегъ, Бенедиктовъ покачнулся. Вынимали закладки, причаливали. Гавронскій волновался.

— Бенедиктовъ, садись же, ѣдемъ.

— Я пойду пѣшкомъ, прощайте.

— Да не стѣсняйся, довеземъ!

Бенедиктовъ сошелъ съ парома и ступалъ по прибрежному песку.

— До свиданья, — крикнула Вѣра, — дай Богъ и вамъ счастья!

Бенедиктовъ снялъ фуражку и махнулъ ею. Потомъ зашагалъ своей дорогой, а телѣжка съ Вѣрой и Гавронскимъ загремѣла и скрылась.

Онъ не надѣлъ фуражки, и шелъ съ непокрытой головой, подъ темнымъ, звѣзднымъ небомъ. Онъ очень плохо видѣлъ и опирался на палку. Среди безбрежныхъ луговъ, подъ безбрежнымъ небомъ онъ былъ, какъ заблудившійся путникъ. Наконецъ, остановился. „Что же, сейчасъ? Здѣсь, на этомъ мѣстѣ?“ У него захватило дыханіе. Какъ двѣ волны, столкнулись въ его душѣ противоположныя чувства: онъ не могъ поднять руки съ оружіемъ, и не могъ онъ вернуться такъ домой, и задавать Левѣ на завтра уроки.

Подъ тяжестью своего бремени онъ сѣлъ. Здѣсь было темно, одиноко, не стыдно. „Ты — несчастная тварь,“ — шепталъ ему демонъ: — „твой удѣлъ горе, отчаянье, бѣдность... Кто полюбитъ тебя? Ты — ошибка творенья. Исправь ее.“ „Вся твоя жизнь предъ тобою,“ — говорилъ кто-то другой: — „вспомни ее. Ты былъ чистъ и честенъ съ колыбели. Ты не поддался въ нѣжномъ дѣтствѣ, и теперь, ты, пишущій о святомъ Францискѣ — отступаешь? Ты сдаешься, рыцарь?“

— Господи, Господи! — Что же это? За что?

Онъ замолкъ, и замолкло все въ его душѣ. Онъ сидѣлъ въ оцѣпенѣніи, безъ силъ, безъ воли, уставившись въ одну точку. Неизвѣстно откуда, и почему, предстало передъ нимъ въ ту минуту видѣніе — далекое, дѣтское. Онъ внезапно увидѣлъ весеннюю ночь, подъ праздникъ Пасхи. Онъ, мальчикъ, переѣзжаетъ на паромѣ разлившуюся Оку. Разлилась она безконечно, затопила луга, кусты, и жутко смотрѣть въ ея темень маленькому человѣку. Но онъ возвращается домой, на каникулы, дома ждетъ мать. Въ церкви, на томъ берегу, огоньки, это пасхальная заутреня. Звѣзды на небѣ чисты. Золотой свѣтъ ихъ, золотое сіяніе заутрени не дастъ въ обиду маленькаго человѣка. И онъ стоитъ у борта парома, слышитъ, какъ жуютъ и посапываютъ лошади. Къ нему близится далекій, родной край.

Бенедиктовъ вдругъ почувствовалъ, что если онъ просидитъ еще минуту, сердце его разорвется. Сдѣлавъ надъ собой огромное усиліе, онъ всталъ, и тяжелыми, безсмысленными шагами зашагалъ по берегу. „Да, ничего не понимаю. Не знаю. Да. Какъ будетъ? Гдѣ я? Гдѣ Гавронскій?“

И онъ шелъ по самому берегу рѣки. Онъ совсѣмъ ужъ не понималъ теперь, куда собственно идетъ, но двигаться все же было легче, чѣмъ сидѣть.

Такъ набрелъ на плоты, стоявшіе у самаго берега. На краю одного изъ нихъ, ближайшаго, горѣлъ огонекъ подъ таганкомъ, и сидѣлъ мужикъ. Бенедиктовъ почему-то остановился и сталъ на него смотрѣть.

Сѣдоватый мужикъ въ лаптяхъ и чистой рубахѣ всталъ и подошелъ къ самому краю. Приложивъ руку къ глазамъ и вглядѣвшись, спросилъ:

— Что надобно?

— Ничего.

Мужикъ видимо остался недоволенъ.

— Ничего. Намедни одинъ кругъ плотовъ шлялся, тоже ему ничего было, а потомъ у Семки зипунъ пропалъ. И какъ время выбралъ, сукинъ сынъ: только на часъ я вздремнулъ, а ужъ онъ вотъ онъ...

Бенедиктовъ вдругъ захохоталъ.

— Я зипуна не украду, не бойся.

Смѣхъ его звучалъ истерически.

— Тебѣ чего это такъ смѣшно? — спросилъ мужикъ. — Что по-барски одѣтъ, такъ и зипуна украсть не можешь? А я почемъ знаю, кто ты такой?

Предположеніе, что онъ можетъ украсть зипунъ, нѣсколько прояснило Бенедиктова. Онъ сѣлъ на песокъ, скрестивъ ноги по-турецки.

— Я не баринъ, вотъ въ чемъ дѣло. Я такъ себѣ... никакой.

Старикъ поуспокоился тоже, отошелъ, и сѣлъ у таганка.

— Значитъ, безработный?

— Нѣтъ, работу имѣю.

— Чтожъ ночью шляешься, какъ шалый?

— А стало быть, шалый и есть.

— Пустое это все, баловство.

Бенедиктовъ рѣзко повернулся и надѣлъ фуражку.

— Ты этого не можешь знать, баловство или не баловство. Развѣ ты про меня что-нибудь знаешь?

— Ничего не знаю. А зачѣмъ шляешься?

— То-то и вижу, что не знаешь, — сказалъ Бенедиктовъ серьезно и сдержанно.

Онъ вынулъ револьверъ и показалъ мужику.

— Я изъ этой штуки на щербатовскомъ перевозѣ чуть себя не убилъ. Понимаешь, — себя? А ты говоришь — баловство.

Старикъ удивился.

— Чудной ты, — пробормоталъ онъ. — Одно слово: чудной. На себя руки наложить. До чего дошелъ! Чтожъ,

душу чью загубилъ, или обворовалъ кого, деньги растратилъ?

Бенедиктовъ слегка похолодѣлъ. „Откуда у него право спрашивать меня?“ И онъ не отвѣтилъ себѣ, но показалось, что это не такъ нелѣпо.

— Нѣтъ, никого не убивалъ, и денегъ не растрачивалъ.

— Такъ чтожъ ты?

Бенедиктовъ помолчалъ съ минуту:

— Очень мнѣ жить плохо.

— Жить плохо? Какой скорый. А ты знаешь, кому хорошо жить?

— Можетъ-быть, и другимъ плохо. Мнѣ отъ этого не легче.

Бенедиктовъ сталъ волноваться и раздражаться.

— Ну, чего разговаривать, — прибавилъ онъ хмуро. — Я пойду. А то ты думаешь, что я зипунъ у тебя стащу.

— Такъ. Куда жъ ты теперь пойдешь? Ночь, темень, а ты ровно звѣрь выходишь шляться.

„Ровно звѣрь! Что жъ, можетъ, и правда я похожъ сейчасъ на дикаго звѣря. Ну, не хочу болтать съ нимъ!“

Однако, онъ не всталъ. Продолжалъ сидѣть попрежнему, въ прежнемъ оцѣпенѣніи.

— Знаешь ты, — крикнулъ онъ вдругъ, — что такое смертная тоска?

И Бенедиктовъ вдругъ почувствовалъ, что въ душѣ его вспыхнуло огромное, пожирающее пламя жалости къ самому себѣ. Точно все, что копилось въ немъ за долгіе годы одинокой жизни, холода, страданій, что вело его на хуторокъ Гавронскаго, взорвалось сейчасъ, съ этой короткой фразой. Онъ стиснулъ зубы, сдѣлалъ надъ собой усиліе, чтобы не зарыдать.

Старикъ вздохнулъ.

— Это мы знаемъ, — отвѣтилъ онъ покойно, тономъ человѣка, которому многое извѣстно въ жизни. — Это мы понимаемъ.

Минуту онъ помолчалъ, потомъ сказалъ другимъ, нѣсколько глухимъ голосомъ:

— У насъ у самихъ сынъ былъ. Въ родѣ тебя годами. Очень просто и вышло. Ѣхалъ, стало быть, зимнимъ дѣломъ, вечеромъ на розвальняхъ. Навстрѣчу земскій. Другъ дружкѣ не свернули, вышла у нихъ ссора. Земскій его по мордѣ. А Ваня сильнѣй былъ. Развернулся, далъ ему раза, два, три. А тотъ Богу душу отдалъ.

Бенедиктовъ сдержалъ себя, прислушался. Старикъ услыхалъ его вздохъ и продолжалъ:

— Ваню моего, — значитъ, судили. По военному суду, какъ онъ чиновника жизни рѣшилъ. А Ваня и не цѣлилъ, чтобы его убивать: въ дракѣ, рука размахнулась. Засудили. Къ смерти, къ черезъ повѣшенію.

Онъ пріостановился немного.

— Вотъ онъ намъ тогда со старухой письмо прислалъ, изъ тюрьмы. Тамъ и про то написалъ, какъ ты говоришь, что предъ смертью тоскуетъ.

— Это когда жъ было? — спросилъ хрипло Бенедиктовъ.

— Тому назадъ три мѣсяца.

Старикъ опять помолчалъ.

— Послѣ того вскорости моя баба померла. Все голосила, забыть не могла. Я одинъ остался.

Бенедиктовъ почему-то всталъ. Старикъ задохнулся. Бенедиктовъ все стоялъ, и не могъ оторваться отъ него, — все смотрѣлъ.

— Поди сюда, — сказалъ вдругъ старикъ. — Ко мнѣ.

Бенедиктовъ вскочилъ на плотъ. Подъ ногой его скользнуло бревно, не крѣпко вшитое. Но онъ удержался, не упалъ.

— У меня тутъ письмо. Прочитай, сдѣлай милость.

Онъ полѣзъ въ кисетъ, долго рылся и вытащилъ, наконецъ, бумажку. На ней карандашемъ было что-то нацарапано.

Руки Бенедиктова вздрагивали, когда онъ сталъ медленно читать эти строки при свѣтѣ огонька подъ таганкомъ, подъ вышнимъ блескомъ звѣздъ.

— Не торопись, чтобы все понятно было, съ толкомъ.

Пока читалъ Бенедиктовъ простые, величаво-народные обороты: „низко вамъ кланяюсь, батюшка и матушка, и, въ чемъ виноватъ, прошу прощенія," старикъ кивалъ и поддакивалъ. „Прощенія проситъ. А земскаго и не цѣлилъ убивать. Такъ."

Наконецъ, Бенедиктовъ дошелъ до мѣста: „а какъ завтрашній день долженъ я на висѣлицѣ жизнь свою кончить, то пожалѣйте меня, батюшка и матушка, потому очень мнѣ тошно въ молодыхъ годахъ умирать. И какъ есть я грѣшникъ, то помолитесь за упокой моей души."

— Ну? — спросилъ Бенедиктовъ, и близорукій взоръ его изъ подъ большого лба пылалъ: — ну?

Онъ не зналъ, къ кому обращался, и какого ждалъ отвѣта. Старикъ молчалъ. Бенедиктовъ отдалъ ему бумажку, поднялся, и сверху внизъ глядѣлъ на него. Огненный вихрь проносился въ его душѣ.

Вдругъ онъ опустился, нагнулся и поцѣловалъ худую руку старика. Все это произошло мгновенно.

Большимъ, неуклюжимъ прыжкомъ онъ соскочилъ на землю.

IV

Бенедиктовъ быстро шагалъ — насколько могъ быстро — въ ночной тьмѣ. „Смертная тоска," — вертѣлось въ его головѣ: — „онъ умеръ. Я тоже умираю. Пора." Онъ зналъ, что подходитъ къ предѣлу — все сейчасъ должно произойти. Онъ не могъ быть больше съ этимъ старикомъ. Какая-то сила — вѣроятно та же, что вела его къ Гавронскому, увлекала теперь въ тьму луговъ, гдѣ наединѣ съ собой онъ долженъ былъ принять послѣднее рѣшеніе.

„Смерть вокругъ, смерть!“ неслось въ его головѣ. Онъ почти физически ощущалъ ее, душа потрясалась страшнымъ приближеніемъ. Но вмѣстѣ росъ и странный, непонятный подъемъ.

„Онъ — это то же, что я, — бормоталъ Бенедиктовъ. — Мы всѣ одно. Я, и старикъ, и сынъ и всѣ гибнущіе, — мы одно. Мы встрѣчаемся и обнимаемъ другъ друга въ одномъ объятіи. Это объятіе — смерть. Такъ будетъ. Да исполнится воля пославшаго.“

„Какъ пославшаго? Развѣ мы посланы затѣмъ? Ну, съ ума схожу. Это все не то. У меня дѣло. Зачѣмъ я вышелъ? Меня перебилъ, разстроилъ старикъ, нелѣпый разговоръ. Все очень просто.“

Въ этотъ моментъ Бенедиктовъ со-слѣпу наткнулся на копну. Онъ потерялъ равновѣсіе и упалъ лицомъ въ ея благоухэнную грудь. „Да, сейчасъ, сейчасъ.“ И онъ снова застоналъ. Говорила ли его молодость, неясный и могучій зовъ существа, хотѣвшаго жить и быть счастливымъ? Онъ зналъ, что черезъ секунду случится непоправимое, и та тоска, что терзала его брата Ивана, или его самого въ обликѣ этого Ивана, подступила къ горлу ледяной волной. Казалось, онъ и самъ сейчасъ умретъ.

Все лежа, не оглядываясь и ничего не видя, Бенедиктовъ вынулъ револьверъ. Слабѣющей рукой онъ поднесъ его къ виску, но не могъ хорошо приладить. Казалось, что если секунду онъ промедлитъ, будетъ поздно. Онъ спустилъ курокъ. Вѣрно, въ послѣдній моментъ дрогнула его рука, или мотнулъ онъ головой въ сѣнѣ. Сквозь закрытыя вѣки блеснуло въ глазахъ, раздался ударъ, оглушившій его, и судорожно онъ метнулся всѣмъ тѣломъ.

Потомъ затихъ. Онъ не ощущалъ боли и сознавалъ, что живъ. Но не могъ двинуться, — такое безсиліе и онѣмѣніе нашло на него, что онъ лежалъ ничкомъ на копнѣ, какъ трупъ. „Ну? Ну, чтожъ?“

Ничего не было. Все кончилось. Наступило безразличное, ровное состояніе, въ которомъ какъ бы задремалъ духъ. Мелькали иногда куски видѣннаго: паромъ, плескъ воды, но безсвязно. Такъ продолжалось нѣкоторое время; затѣмъ Бенедиктовъ почувствовалъ, что въ сердцѣ его что-то теплѣетъ, растаиваетъ. Легкое, сладостное волненіе овладѣло имъ. Онъ вздохнулъ. Потомъ приподнялся. „Осторожно,—сказалъ онъ себѣ:—понемногу.“ Онъ боялся разлить то новое, и особенное, что появлялось въ немъ.

Онъ снялъ фуражку, провелъ рукой по волосамъ и сѣлъ. Ему казалось, что онъ становится легкимъ и стекляннымъ, и при неловкомъ движеніи можетъ разбиться. Еще удивило его то, что теперь онъ все хорошо видѣлъ. Видѣлъ небо, полное звѣздъ, темный воздухъ, трепетавшій сейчасъ, и прозрачный. Онъ видѣлъ свою копну, зналъ, что вокругъ еще копны, и тишина звѣздъ была необычайна, и легка, и воздухъ былъ не воздухъ, а эфиръ, въ которомъ плыло окружающее. Жаркія волны восходили уже выше сердца, и Бенедиктовъ, какъ бы подымаемый ими, всталъ, и медленно, широко дышалъ. Казалось, грудь можетъ вмѣстить страшно много этого новаго воздуха, и жаль было бы не вмѣстить столько.

Наконецъ, волна достигла горла, и тогда Бенедиктовъ издалъ вопль, и опустился на землю. Онъ, наконецъ, рыдалъ, — теперь уже безудержно, потрясаемый неизвѣстной силой, пронзившей его своими молніями.

Спустя нѣсколько времени онъ снова поднялся. Руки его вздрагивали, глаза были мокры. „Живъ. Боже мой, я живъ!“...

И онъ пошелъ, какъ бы въ восторженномъ полуснѣ. Былъ ли онъ опьяненъ, или безуменъ? Блѣднѣлъ разсвѣтъ. Сѣдая роса серебрила луга, низко стлался туманъ. Небо стало тоньше и выше. „Что такое? — бормоталъ Бенедиктовъ. — Я стрѣлялъ въ себя?“ Онъ будто только что проснулся. Ему казалось, что сзади лежала какая-то

смутная и страшная бездна, едва его не поглотившая. Онъ готовъ былъ даже считать это за навожденіе. „Я чуть не убилъ себя, я, я!“ Если бъ не былъ онъ такъ полонъ новаго, сіяющаго и звенящаго, онъ могъ бы впасть теперь въ отчаяніе. Но онъ далекъ былъ отъ всего такого. „Да, стрѣлялъ, а теперь иду, мнѣ навстрѣчу встаетъ солнце, я иду, и поютъ птицы, и въ душѣ моей звучитъ отвѣтная пѣснь. Я иду, я иду.“

Въ легкихъ тучкахъ подымалось солнце и лучи его неслись сквозь облака, какъ стрѣлы небеснаго воинства. „Все мое,“ — чувствовалъ некрасивый человѣкъ, шагавшій по серебряному лугу, и вѣрно, все ему принадлежало, и онъ принадлежалъ всему. Быть-можетъ, эти минуты были высшими въ его жизни.

Когда онъ проходилъ въ паркѣ по той же дорожкѣ, гдѣ вчера шелъ на смерть, тѣ же воробьи возились въ вишняхъ, но они были и не тѣ. „Все прочно, все на своихъ мѣстахъ, — думалъ Бенедиктовъ, нѣсколько успокоившись. — Мнѣ открылась истина. Все понятно мнѣ, все ясно.“ Онъ остановился на минуту у большого дома, гдѣ въ мезонинѣ жила Зина. Странно, удивительно ему было! Сколько страдалъ онъ изъ за той, кто спала за этими шторами, но теперь для него все это обращалось въ былое. „Нѣтъ, нѣтъ, мимо, дальше. Прочь отсюда.“

На крышѣ мезонина стоялъ флюгеръ, въ немъ эолова арфа. Съ набѣжавшимъ вѣтеркомъ она издала нѣжный, жалобный стонъ. Было похоже на то, что это геніи вѣтра, благосклонные ему, шлютъ ему прощальный привѣтъ.

Онъ вошелъ въ свой флигель — трудовую келью, гдѣ лежали книги, гдѣ ждалъ его св. Франциск. Это все было его. Онъ взялъ со стола книгу и раскрылъ. Его взоръ упалъ на строки: „На зарѣ крики горныхъ соколовъ будили св. Франциска, на высотахъ Альверны.“

АКТЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ

I

За тридцать пять лѣтъ жизни актриса Попелло-Ковельская успѣла нажить себѣ сына. Было трудно, когда онъ родился: актриса кочевала по Россіи, какъ сотни и тысячи ея товарищей. Но все казалось, что черезъ два года пригласятъ въ Москву, въ Малый театръ на хорошія роли. Въ провинціи она играла grandes dames, съ жалованьемъ до ста рублей. Она была легкомысленна и высокомѣрна. Съ раннихъ лѣтъ внушила мальчику, что онъ тоже будетъ на сценѣ, дала ему поэтическое имя Игорь, и увѣрила, что по отцу онъ древняго, княжескаго рода.

Правда, была она временно замужемъ за антрепренеромъ Попелло-Козельскимъ, и вѣрно, что его родъ шелъ изъ Литвы. Но до князей было далеко, а главное, она забыла, что отцомъ Игорю приходился актеръ Трухановъ, пламенный первый любовникъ, бившій иногда возлюбленныхъ палкой.

Была ли это интрига, но Попелло-Козельскую въ Малый театръ не приглашали. Таскаться съ мальчикомъ, будущимъ геніемъ и княземъ, изъ Вязьмы въ Пензу и изъ Рыбинска въ Житоміръ становилось труднѣе. Актриса чаще раздражалась, и теперь выходило, что главная причина ея неудачъ — Игорь, вѣчно виснущій на хвостѣ. Чтобы облегчить себѣ служеніе искусству, Попелло-Козельская, подумавъ и поволновавшись, рѣшилась однажды, проѣзжая черезъ Москву, на слѣдующее: она

оставитъ Игоря на сезонъ у комической старухи Иваницкой, а тамъ видно будетъ.

Иваницкая была сырая женщина, добрая и одинокая. Служила въ частномъ театрѣ. По мнѣнію Попелло-Козельской, мальчика на зиму у себя не оставила бы. Grand dame рѣшила идти напроломъ: въ день отъѣзда она завезла Игоря къ Иваницкой, сказавъ, что заѣдетъ. Но не заѣхала, а съ дороги прислала письмо, полное слезъ, гдѣ именемъ старой дружбы молила простить — Игоря она никакъ не могла взять съ собой. Иваницкая была поражена.

Молодой Попелло-Козельскій, которому было девять, остался у Иваницкой. Она не скрыла, какъ обошлась съ нимъ мать, и хотя страстной любви къ матери Игорь не чувствовалъ, все же былъ пораженъ и рыдалъ въ подолѣ комической старухи.

Потомъ, успокоившись немного, на вопросъ, что же дѣлать и какъ съ нимъ быть, отвѣтилъ твердо: пойдетъ въ актеры и разыщетъ мать.

Иваницкая оставила его у себя. Онъ умѣлъ уже читать, былъ тонокъ, тощъ. Въ головѣ его закипалъ жаръ театра. Иваницкая поколебалась было — не отдать ли его учиться въ школу: но и сама она была насквозь актриса, выросшая при театрѣ; къ тому же, подвернулся случай — играть ребенка въ нашумѣвшей пьесѣ; впервые Игорь увидѣлъ рампу.

Это рѣшило его судьбу. Онъ выходилъ на сцену съ локонами, въ бархатной курточкѣ и бѣлыхъ воротничкахъ, его ласкали, изъ за него по дѣйствію выходили трогательные пассажи. Въ антрактахъ актриса Гулевичъ, премьерша съ худенькой фигуркой, большими глазами и блѣдными руками, кормила его конфетами — если бывалъ въ духѣ. Игорю она нравилась, хотя въ театрѣ ея не выносили. Она была способна на слѣпое бѣшенство, когда ея худое лицо искажалось, и она запускала туфлей въ парикмахера,

ругала плотниковъ неприличными словами, и разъ отъ гнѣвнаго волненія лишилась чувствъ. Но Игорю казалось все это необыкновеннымъ. Онъ рѣшилъ, что и самъ будетъ такимъ, когда вырастетъ. Впрочемъ, дружба эта продолжалась мѣсяцъ. Игорь попался ей въ дурную минуту, наступилъ на платье и оборвалъ. Она дала ему такую пощечину, что старуха Иваницкая ходила объясняться. Она выругала и Иваницкую.

Игорь же отказался выступать съ премьершей. Вмѣсто него нашли другого мальчика, а онъ остался не у дѣлъ, но не разлюбилъ театра: напротивъ, онъ съ каждымъ днемъ къ нему прирасталъ и не могъ другимъ интересоваться. Иваницкая замѣняла ему мать. Онъ ходилъ съ ней на репетиціи, дожидался ея и, сидя на уголкѣ кулисъ, мечталъ, какъ онъ вырастетъ и будетъ знаменитымъ актеромъ. Ему казалось, что нѣтъ на свѣтѣ лучше дѣла, чѣмъ выходить въ костюмѣ и парикѣ къ рампѣ, изображая замѣчательныхъ людей: королей, героевъ, полководцевъ.

Двѣнадцати лѣтъ онъ говорилъ Иваницкой:

— Когда я вырасту, то буду играть Макбета.

И онъ росъ среди преувеличенныхъ чувствъ, позы, париковъ и румянъ.

Ему исполнилось семнадцать, когда Иваницкая устроила его, наконецъ, въ провинцію къ знакомому антрепренеру. Онъ ѣхалъ въ Кострому съ восторгомъ. Правда, Макбетомъ здѣсь и не пахло: онъ получалъ тридцать пять рублей и подавалъ на сценѣ письма, якобы на серебряныхъ подносахъ, бывалъ пажемъ, пейзаномъ, иногда проходилъ въ отрядѣ тѣлохранителей съ легонькими сѣкирами.

Добрая Иваницкая была рада, что пристроила мальчика, и, дѣйствительно, пора было: она сыграла уже на своемъ вѣку сотни комическихъ, архикомическихъ и полукомическихъ ролей, какъ многіе комики, скопила глубокую печаль и послѣдніе годы чувствовала усталость.

Она была честнымъ лицедѣемъ, и на другой годъ, какъ выпустила на свѣтъ Божій молодого Попелло-Козельскаго, опочила сама: съ ней сдѣлался на сценѣ ударъ, отнялась половина тѣла. Скоро столичные актеры провожали на кладбище ту, кто долгіе годы веселила публику.

Попелло-Козельскій горько плакалъ, узнавъ о ея смерти. Его слезы были тѣмъ больнѣй, что въ нихъ вмѣщался и укоръ бѣжавшей матери. Ея онъ тоже не забылъ, и давняя обида не заживала въ его сердцѣ. Онъ все разспрашивалъ о ней, старался найти слѣдъ и встрѣтиться. Его воображенію, настроенному на артистическій ладъ, представлялось, какъ они встрѣтятся, и между ними произойдетъ трагическая сцена: но эти фантазіи были напрасны. Попелло-Козельская, не успѣвъ доказать, что ихъ родъ княжескій, и не добившись амплуа Ермоловой, на годъ раньше Иваницкой уступила поле битвы: она умерла въ Николаевѣ, въ городской больницѣ, отъ тифа. Она была легкомысленна, но то, что она бросила сына и семь лѣтъ не видала его, мучило ее непрестанно, хоть она и увѣряла себя, что у Иваницкой ему лучше. Если бы Попелло-Козельскій видѣлъ передъ смертью мать, — постарѣвшую, одинокую, умиравшую на чужихъ рукахъ на жесткой постели, — претендентку на гербъ князей, — быть-можетъ, онъ пожалѣлъ бы ее и простилъ.

Но онъ былъ молодъ, ему хотѣлось любви, успѣха, славы. Хотя въ его жилахъ текла кровь извѣстнаго Труханова, таланта первый любовникъ не передалъ ему. И актеры, и антрепренеры знали, что Попелло-Козельскій карьеры не сдѣлаетъ. Не понималъ этого только онъ: онъ былъ въ мать самоувѣренъ, и лишенъ самокритики. Впрочемъ, вышелъ разъ случай, что и его похвалили. Онъ игралъ со знаменитымъ въ провинціи гастролеромъ и знаменитымъ пьяницей.

Пьяницу вызывали однажды бѣшено, онъ былъ навеселѣ, счастливъ, гимназистки бросали ему цвѣты. Когда въ

третьемъ дѣйствіи опустили занавѣсъ, онъ вдругъ обнялъ подвернувшагося Попелло-Козельскаго, поцѣловалъ его, и сказалъ:

— Ну? Доволенъ успѣхомъ?

Какъ будто его лаврами могъ быть доволенъ Игорь, молча подававшій ему въ пьесѣ шубу.

— Талантъ! — прибавилъ гастролеръ. — И ты талантъ! Вѣрь мнѣ.

Послѣ спектакля оба они напились до безчувствія.

III

Попелло-Козельскому было двадцать пять, когда онъ началъ уже волноваться и раздражаться изъ за своей работы. Ему казалось, что онъ не хуже кого-нибудь сыграетъ, напримѣръ, Макбета; но ему не давали и вторыхъ ролей. Весь его успѣхъ и движеніе впередъ состояли въ томъ, что съ тридцати пяти рублей онъ поднялся до пятидесяти, а послѣдній контрактъ въ Харьковъ подписалъ на пятьдесятъ пять.

Въ Харьковѣ онъ познакомился съ актрисой Сабанѣевой, опереточной прелестницей за тридцать. Игорь былъ худъ, горячъ, энтузіастиченъ, и когда выпивалъ, то хлопалъ изо всей силы кулакомъ по столу. Иногда на него нападала трагическая меланхолія, онъ вспоминалъ о бѣдномъ Іорикѣ, и говорилъ, что слава, — это невѣрная любовница. Кажется, больше всего онъ доѣхалъ Сабанѣеву Іорикомъ и невѣрной любовницей. Сабанѣева была всегда добра къ мужчинамъ, обладала могучими атурами, волновавшими гимназистовъ старшихъ классовъ, когда они брали на ея бенефисъ ложу на „Зеленый Островъ“; — но, какъ у многихъ толстухъ, сердце Сабанѣевой весьма жаждало „поэтическаго“ и меланхолическаго юношу. Исторія съ матерью Попелло-Козельскаго,

его романически-княжеское происхожденіе довершили дѣло. Они сошлись.

Первое время ихъ любви прошло бурно. Игорь оправдалъ надежды: онъ былъ многословенъ, напыщенъ, нервенъ, ревнивъ до послѣдней степени.

— Жюли, — говорилъ онъ, — ты разорвала мое сердце пополамъ и съ ненасытной жадностью пожираешь свою половину.

Сабанѣева млѣла отъ такихъ фразъ, томно откидывалась и выставляла руку для поцѣлуевъ.

— Но если ты мнѣ измѣнишь — клянусь, это не пройдетъ тебѣ даромъ!

Она вздыхала. Ей нравился такой азартъ, но про себя многоопытная Жюли все же называла его болваномъ. И не отказывалась отъ поддержки нефтепромышленника.

Такъ вошла она въ жизнь Игоря Попелло-Козельскаго. Съ каждымъ днемъ онъ сильнѣе погружался въ нее: ему казалось, что она обаятельная львица, Клеопатра, къ ногамъ которой должны пасть царства; голосъ ея представлялся волшебнымъ, и онъ негодовалъ, почему она изображаетъ въ трико разныхъ подозрительныхъ дамъ, а не поетъ въ оперѣ. Съ легковѣріемъ покойной матери онъ звалъ ее въ столицу, требовалъ, чтобъ она добивалась дебюта. Сабанѣева хохотала и говорила:

— Ну мальчишка! Шикъ!

Вышло же изъ этихъ разговоровъ то, что на слѣдующій сезонъ онъ подписалъ съ ней вмѣстѣ въ оперетку.

— Для моей любви нѣтъ жертвы, предъ которой я бы остановился!

Хотя, какъ извѣстно, и доселѣ онъ мало преуспѣвалъ, все же служилъ въ театрахъ, гдѣ для открытія ставили Гоголя и Грибоѣдова. Теперь же отдался Оффенбаху. Онъ долженъ былъ при случаѣ подпѣвать, приплясывать, и если приходилось изображать королей, то уже всегда такихъ, которые съ трона пускались въ канканъ.

— Я гублю свой талантъ, — разсуждалъ онъ въ подпитіи: — но во имя любви. Впрочемъ это, конечно, временно. Не заставятъ Попелло-Козельскаго быть шутомъ.

Но такія роли выпадали ему въ жизни. Уже на второй годъ ихъ сожительства онъ сталъ надоѣдать ей: во-первыхъ, вовсе онъ не былъ такъ молодъ, какъ сначала представилось. Меланхолія его сводилась къ укорамъ и вспышкамъ; княжескаго ничего не нашлось. Въ общемъ онъ ей скорѣе мѣшалъ.

Во время кутежей съ поклонниками приходилось считать его дальнимъ родственникомъ, надъ чѣмъ всѣ смѣялись. Его напаивали, и съ хохотомъ слушали проповѣди, какъ надо играть Гамлета и короля Лира. Конечно, онъ былъ жалокъ въ отдѣльномъ кабинетѣ кабака, со своимъ воодушевленіемъ и пьяными слезами, при подругѣ, которую при немъ хлопали по бедрамъ и многіе покупали. Разъ онъ ударилъ по лицу не въ мѣру увлекшагося интенданта. Его вытолкали въ шею. Жюли была страшно возмущена и перестала брать его въ веселыя поѣздки.

Но всего о Жюли онъ не зналъ. Онъ страдалъ, ревновалъ, но думалъ, что она просто легкомысленна и кокетка. О томъ же, что она продажна вся, онъ не подозрѣвалъ. Въ его головѣ не было мысли, что Жюли, пѣвица, которая не сегодня-завтра увидитъ рампу оперы, дарitъ свою любовь за новое платье, за браслетку, рецензію.

Однако, узналъ онъ и объ этомъ. Въ одну изъ бурныхъ минутъ, когда Жюли запустила чашкой въ горничную и назвала Игоря идіотомъ, она сама ему заявила, что жалованья на себя, да еще на него (онъ получалъ уже шестьдесятъ), — нехватаетъ, и она должна находить инымъ путемъ средства. Онъ все еще не понималъ.

— Тогда надо жить скромнѣе. Можно, напримѣръ, перемѣнить квартиру.

Сабанѣева сдержала ярость.

— Да, ты хочешь, чтобы я переселилась въ подвалъ.

Попелло-Козельскій загорячился, пробовалъ возражать, что онъ вовсе не хочетъ переселять ее въ подвалъ, но было поздно: Жюли слишкомъ долго терпѣла. Она выслушала его, потомъ молча встала, подошла, точно была она трагическая актриса, и, глядя на него глазами, „полными гнѣва и презрѣнія“ (какъ она думала), сказала съ изяществомъ:

— Дуракъ.

Потомъ выдержала паузу и съ наслажденіемъ, чувствуя себя ужъ дѣйствительно Саррой Бернаръ, объяснила, что онъ ничтожество и тунеядецъ, ея прихлебатель, наемный любовникъ; она же, хоть и создана для лавровъ оперы, прозябаетъ въ провинціи и вынуждена *торговать собою*. Она прибавила циничное слово.

Попелло-Козельскій, у котораго весьма рано появилась плѣшь и нервныя подергиванья въ мускулѣ щеки, проявилъ себя неожиданно: по примѣру отца, славнаго любовника Труханова, онъ вдругъ кинулся на Жюли съ кулаками, завизжалъ и назвалъ ее краткимъ именемъ, котораго она заслуживала. Вышло безобразно. Онъ сорвалъ съ нея парикъ, она звала на помощь, ихъ разнимали, и дѣло пахло участкомъ.

Но для Попелло-Козельскаго это было уже неважно. Когда онъ срывалъ съ нея фальшивые волосы, и передъ его глазами кривилось ея лицо, искаженное страхомъ, бѣшенствомъ, онъ мгновенно, какъ-то сразу, понялъ, что Жюли — это обманъ, фантасмагорія, которой онъ отдалъ свою молодость.

Въ ярости выбѣжалъ онъ изъ дому. Обида, отчаяніе, позоръ, давили его. Онъ ходилъ по городу, громко съ собой разговаривалъ, въ величественной позѣ остановился у набережной, какъ бы собираясь броситься въ воду; но не бросился — не удостоилъ губернскую рѣку своимъ посѣщеніемъ. На него вдругъ нашелъ приливъ гордости: какъ? Онъ, Попелло-Козельскій, которому знаменитый

Самсоновъ сказалъ, что онъ талантъ, онъ, носящій почти княжескую фамилію, вдругъ — прихлебатель, наемный любовникъ! „Юлія, — грозно обратился онъ, къ рѣкѣ, спокойно и хмуро катившей осеннія воды: — Юлія, ты раскаешься. Клянусь честью Попелло Козельского! Ты узнаешь еще, кто я, когда мое имя прогремитъ по Россіи."

И весь остатокъ дня провелъ, фантазируя. Онъ рѣшилъ, что теперь пробилъ его часъ. „Моя любовь разбита, это призывъ искусства. Муза трагедіи зоветъ меня." Такая мысль страшно его воодушевила. Пора, пора! Довольно унижать свой геній, изображая опереточныхъ королей. Довольно быть рабомъ старѣющей проститутки. „Какъ это сказано? — старался онъ вспомнить. — Ну, изъ Пушкина, изъ Бориса Годунова: Мнѣ ль, мнѣ ль, потомку Іоанна... кажется такъ. Да. Унижаться... Нѣтъ: предъ гордою полячкой унижаться! Великій Пушкинъ. Какъ выразилъ! Это прямо про меня."

Онъ много еще колобродилъ въ тотъ день, который былъ, дѣйствительно, переломнымъ въ его жизни. Онъ окончательно убѣдился, что его миссія — сыграть Гамлета и, вѣроятно, еще Макбета. О, тогда Жюли узнаетъ!

Ночевать онъ домой не вернулся, а отправился къ знакомому суфлеру. Попелло-Козельскій воодушевилъ и его, и они провели вечеръ въ пивной, а ночью онъ не могъ заснуть: все представлялось, какъ онъ безнадежно одинокъ и вмѣстѣ великъ, ибо въ немъ гнѣздятся уже образы міровой поэзіи, и горе привело къ тому, что, наконецъ, онъ воплотитъ ихъ. „О, счастье, счастье! — восклицалъ онъ. — Какъ дорого платитъ за тебя человѣчество!"

Былъ ли онъ правъ относительно человѣчества — неизвѣстно, но для себя не ошибся: на другой день съ нимъ случился нервный припадокъ, и его свезли въ губернскую больницу, въ нервно-психіатрическое отдѣленіе.

IV

Попелло-Козельскій выздоровѣлъ, но къ Сабанѣевой не вернулся. Онъ много мучился, но гордость взяла верхъ.

Дослуживъ сезонъ въ опереткѣ, отправился въ Москву за ангажементомъ.

Въ Москвѣ онъ жилъ въ грязныхъ номерахъ „Константинополь,“ кормился въ актерскомъ трактирчикѣ, гдѣ было отличнѣйшее пиво, и ходилъ въ бюро. Онъ являлся туда въ красномъ галстухѣ, съ горящими глазами, и потъ тоски и гордости выступалъ на его лбу.

Для смѣлости онъ выпивалъ чего-нибудь передъ бюро и быстро пьянѣлъ — отъ жизни впроголодь. Тогда знакомая толпа бритыхъ лицъ становилась оживленнѣй, самъ онъ представлялся себѣ выше и, проходя мимо зеркала, взглядывая на худое, морщинистое лицо съ румянцемъ волненія, но „благороднымъ“ лбомъ и темными глазами, Попелло-Козельскій думалъ: „Странно, почему меня не берутъ на хорошія роли!“ Ему снова мучительно хотѣлось, чтобъ его взяли, чтобы онъ показалъ, наконецъ, себя.

Онъ забывалъ, что у всѣхъ, толокшихся здѣсь, были такія же мысли, и такъ же они думали, что они красивѣе, талантливѣй и замѣчательнѣе другихъ. Онъ не зналъ, что съ этими же чувствами бродила здѣсь нѣкогда его мать, такъ же горѣли ея щеки, такъ же глаза глядѣли съ высокомѣріемъ и мольбой. И какъ тогда, такъ и теперь и въ будущемъ, богъ земныхъ успѣховъ невидимо рѣялъ надъ ними, окрыляя одного, пропуская мимо сотни.

Взявъ, какой могъ, авансикъ, проѣвъ его, сдѣлавъ долгъ и въ трактирчикѣ, и въ „Константинополѣ,“ Попелло-Козельскій подписалъ, наконецъ, въ Вологду на пятьдесятъ рублей, въ драматическій театръ.

Какъ и раньше, служилъ онъ на полу-выходахъ. Вспоминалъ Сабанѣеву, выпивъ пива, кричалъ: „Про-

клятіе!“ и билъ кулакомъ по столу. Къ женщинамъ сталъ относится еще рѣзче; и по тѣмъ же причинамъ, какъ и прежде, по бѣдности и отсутствію славы, въ него и въ Вологдѣ не влюбилась ни одна гимназистка.

Но зато усилились въ немъ нервность, и мрачная мечтательность. Вечерами долго могъ онъ валяться на убогой кровати, воображать себя великимъ актеромъ, даже переживать, какъ казалось, нѣкоторыя роли. Тогда онъ становился раздражителенъ. Ссорился съ товарищами, дерзилъ режиссеру. Понемногу его стали считать въ труппѣ неудобнымъ. Онъ это видѣлъ. Но объяснялъ тѣмъ, что они чувствуютъ въ немъ существо высшее, завидуютъ, не даютъ ходу. Ложась спать и прикрываясь собственнымъ пальто, Попелло-Козельскій иронически улыбался врагамъ. „Ничтожества Развѣ они понимаютъ искусство? Мы одиноки, это и Пушкинъ говорилъ; какъ у него тамъ? Ты — поэтъ, ты — царь, и живи одинъ, что-то въ этомъ родѣ, не помню, но не важно. Смыслъ такой.“

И полагая, что это сказано про него, Попелло-Козельскій поворачивался на другой бокъ, голодный желудокъ его урчалъ, но въ воспаленномъ мозгу слышались рукоплесканья, вой толпы, летѣли цвѣты.

Будто бы жива его мать. Она сидитъ въ первомъ ряду, плачетъ и говоритъ сосѣдкѣ: „Какъ я счастлива, у меня геніальный сынъ. Я всегда такъ думала. И знаете — онъ потомокъ древнихъ литовскихъ князей, одна изъ вѣтвей Гедиминовичей.“

Послѣ спектакля она приходитъ въ уборную и падаетъ въ его объятія. „Сынъ, прости, что я бросила тебя. Это женская слабость, я уступила нуждѣ, но всегда я тебя любила и вѣрила въ твой талантъ.“ Онъ тоже плачетъ, прощаетъ, ихъ снова осыпаютъ цвѣтами, и онъ вдетъ ее подъ руку въ карету. Изъ кареты выпряжены лошади: ихъ везетъ молодежь.

„Я отдалъ три года жизни той женщинѣ, для нея пришлось унизить искусство и служить въ опереткѣ. Оттого я и запоздалъ. Но теперь догоняю."

Дальше все у него путалось, онъ засыпалъ. Утромъ же предстояло идти на репетицію, гдѣ онъ былъ занятъ во второмъ и четвертомъ актѣ — въ массовыхъ сценахъ, игравшихся десяткомъ статистовъ.

Весною онъ снова былъ въ Москвѣ и снова жилъ въ „Константинополѣ," пилъ пиво и ходилъ въ бюро. Онъ дѣлалъ это и въ слѣдующую весну, и еще въ слѣдующую. Плѣшь его разрасталась, онъ худѣлъ, становился раздражительнѣй и вспыльчивѣй. Иногда встрѣчался со старыми знакомыми, съ кѣмъ игралъ восемь—десять лѣтъ назадъ. Изъ нихъ нѣкоторые обладали уже солидностью, носили перстни и цѣпочки поперекъ живота. Другіе пресмыкались, какъ и онъ. Попелло-Козельскій ненавидѣлъ первыхъ и быстро напивался со вторыми.

Но изъ года въ годъ ему становилось труднѣе: мѣнялось время, люди; и въ его лицедѣйскомъ ремеслѣ произошли перемѣны. Актеровъ стало меньше и больше кинематографовъ. Молодыя актрисы нерѣдко уже умѣли танцовать, и знали разныя жалкія слова, какихъ Попелло-Козельскій не зналъ. Даже одѣваться начали иначе, иныя пошли манеры, иначе пили. Попелло-Козельскій чувствовалъ, что отстаетъ. Странны были бы теперь его претензіи играть Шекспира, когда никто уже Шекспиромъ не интересовался. Но онъ не уступалъ. Бѣдность оттачивала его высокомѣріе, и онъ сталъ еще заносчивѣй съ антрепренерами. Не разъ и не два оставался онъ безъ работы.

Трудно сказать, какъ онъ жилъ. Пробовалъ изображать для кинемо, разыгрывалъ въ клубахъ по два рубля, занималъ, голодалъ, не платилъ за комнатку и падалъ духомъ. Разъ ему прислала двадцать пять рублей Сабанѣева, съ посыльнымъ. Уже нѣсколько дней онъ не ѣлъ

горячаго. Но на листкѣ бумаги, вложенномъ въ конвертъ, гдѣ возвращались деньги, Попелло-Козельскій написалъ: „Подаянія не принимаю. Артистъ гордъ". Послѣднія слова онъ взялъ у Островскаго, и былъ радъ, что вспомнилъ ихъ такъ во-время.

Однажды, въ ноябрѣ, вскорѣ послѣ этого, Попелло-Козельскій шелъ вечеромъ по Страстному бульвару. Къ нему подошла молодая проститутка Вѣра Гаврилова, по прозвищу Вѣрка Пистолетъ.

По давнему обычаю уличныхъ дѣвушекъ, она обратилась къ нему такъ:

— Бритый, дайте папироску!

Попелло-Ковельскій былъ равсѣянъ, но отъ крайней нервности послѣдняго времени вздрогнулъ.

— Пожалуйста, — онъ вынулъ изъ кармана коробочку, гдѣ было три штуки: одну отдалъ Вѣркѣ, другую взялъ самъ. Чиркнувъ спичкой, онъ увидѣлъ ея когда-то миловидное лицо, гдѣ могла еще блеснуть веселость (за что ее и звали Пистолетомъ), но уже съ припухлостью подъ глазами. Она предложила пойти къ ней, онъ согласился, прибавивъ, что денегъ у него — всего рубль. Дорогой волновался, горячился.

— Я артистъ. Я временно почти на улицѣ, какъ и ты. Но это ничего не значитъ. Я своего добьюсь. Не зря же Самсоновъ говорилъ, что — я талантъ.

Вѣрка Пистолетъ разсмѣялась.

— Чтожъ у васъ рубль всего? Ко мнѣ тоже одинъ ходилъ изъ театра, ничего не разсказывалъ, а потомъ мнѣ Нюша говоритъ: „онъ, милая, тамъ въ капельдинахъ служитъ."

Попелло-Козельскій такъ обидѣлся, что чуть не ушелъ. Вѣрка Пистолетъ поняла, что поступила нетактично. Актерскій рубль ей былъ очень нуженъ, и она употребила все изящество и кокетство бульварной Венеры, чтобы смягчить заказчика.

— Вы это оставьте безъ вниманія. Мало ли чего сболтнешь. Тотъ и изъ себя былъ другой. А вы, сейчасъ видно, — баринъ.

Попелло-Козельскій выпилъ у нея пива, воодушевился, и, къ крайнему изумленію Вѣрки Пистолета, принялся декламировать. Ей было смѣшно, но, какъ честная работница своего дѣла, она понимала, что сердить гостя нельзя. Когда же онъ выпилъ еще, въ его взлохмаченныхъ, полусѣдыхъ вискахъ и воспаленномъ взглядѣ появилось что-то больное. Вѣркѣ стало жутко. „Полоумный, какъ бы еще не зарѣзалъ!“ Онъ сталъ предъ ней на колѣни.

— Офелія, помяни меня въ своихъ молитвахъ!

Вѣрка повернула дѣло по житейски.

— Пойдемте, господинъ, ляжемъ.

Она считала, что это наиболѣе подходитъ къ положенію и скорѣе успокоитъ артиста.

Отчасти она оказалась права, но именно отчасти: ибо все же гость ея явно не былъ похожъ на обычныхъ посѣтителей. Ночью онъ будилъ ее, вскакивалъ, бормоталъ что-то, осыпалъ поцѣлуями и говорилъ, что недостоинъ ея. Явно, онъ принималъ ее за другую. Но все же Вѣркѣ, которую обычно называли краткимъ и выразительнымъ именемъ, кого могъ обидѣть всякій, кому не лѣнь, это было пріятно. Она тоже напилась, уже глухою ночью, и оба заснули въ странномъ, полубредовомъ состояніи.

Утромъ, когда нужно было уходить, Попелло-Козельскій заплакалъ и сказалъ, что не можетъ ее бросить. Удивленіе Вѣрки Пистолетъ перешло всякія границы. Попелло-Козельскій заявилъ, что будетъ жить у нея хоть въ лакеяхъ, но домой не вернется.

Никогда не было у Вѣрки лакеевъ, и она не собиралась ихъ заводить. Однако, слова Попелло-Козельскаго о томъ, что онъ любитъ ее, будетъ на нее работать и за ней ухаживать, произвели впечатлѣніе.

Кромѣ того, хотя Попелло-Козельскій и выглядѣлъ страннымъ, но былъ вполнѣ приличенъ. Все же, посовѣтовавшись съ хозяйкой, она отвѣтила, что жить здѣсь нельзя, а пусть онъ къ ней приходитъ, когда вздумается, и она всегда будетъ рада.

V

Какъ и у многихъ дѣвушекъ, честно торгующихъ собой, у Вѣрки Пистолета было доброе сердце. Правда, она могла избить какую-нибудь Дуню Мышку, если бы та покосилась на избранника ея сердца; способна была грубо ругаться, быть можетъ, вытащить у пьянаго гостя рубль изъ кошелька. Но жалѣла бездомныхъ собакъ, кошекъ, безпризорныхъ дѣтей, которыхъ вокругъ развращали, нищихъ, арестантовъ, своихъ товарокъ, вообще всѣхъ отверженныхъ, въ комъ чувствовала себѣ родное.

Попелло-Козельскаго она понимала, какъ худого, облѣзлаго кобеля. Онъ не приносилъ ей никакого „профита“ — по выраженію хозяйки. Но нравилось, что вотъ и къ ней, какъ къ настоящей дамѣ, ходитъ человѣкъ уже немолодой и не за „дѣломъ“, а просто такъ, иногда говоритъ непонятное, но ведетъ себя прилично и часто жалуется на судьбу. Она его утѣшала.

— Даже очень напрасно себя разстраиваете. Ваша жизнь такая, что нынче плохо, а завтра, можетъ, работу получите и будете тысячи зарабатывать.

— Старъ сталъ Попелло-Козельскій, — нищъ, никому не нуженъ. О, женщины! Вы меня погубили. Слава, гдѣ ты? А между тѣмъ, мое сердце полно огня и священнаго бѣшенства, и я могъ бы потрясти міръ своимъ рыданіемъ. Понимаешь ли ты, дочь улицы, великое искусство трагедіи?

И, какъ нѣкогда съ Сабанѣевой, Попелло-Козельскій впадалъ въ многословіе, декламацію, и если не въ священное, то въ словесное бѣшенство.

— Смотри, Вѣрка, — говорила хозяйка, — не доведетъ бритый до добра. Какъ бы посуду еще не перебилъ. И что ты въ немъ такое нашла, въ толкъ не возьму?

Но Вѣрка защищала своего знакомца: онъ артистъ. Однако, и ее временами пугало возбужденіе актера.

— Ну, зарядилъ все одно, дураки да сволочи. Онъ только одинъ умен.

— Вѣра! — кричалъ онъ. — Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я вижу въ тебѣ Офелію и блудницу, и иногда послѣдняя беретъ верхъ. Берегись!

Однажды, когда Попелло-Козельскій особенно разошелся и сталъ громить ничтожества, которыя не дали ему пробиться къ славѣ, а сами заняли привольныя мѣста, Вѣрка не выдержала: въ ней прорвалась уличная дѣвушка, та, кого онъ называлъ „блудницей.“ Она принялась громко и грубо хохотать.

Попелло-Козельскій разсердился, обидѣлся и ушелъ. Онъ такъ разсердился, что рѣшилъ никогда больше не приходить къ ней: въ концѣ концовъ, и она такая же женщина, какъ Сабанѣева и другія. Такъ же она далека отъ его интересовъ, такъ же не понимаетъ искусства и театра. „О, Боже мой!“ вскричалъ онъ патетически, шагая по тротуару. — „Когда же явится та, истинная, которая дастъ мнѣ настоящее блаженство и поведетъ къ славѣ?“

Весь остатокъ дня онъ провелъ въ острой, мучительной тоскѣ. Болѣла голова. Все вокругъ стало представляться страннымъ, не совсѣмъ обычнымъ: точно истончились, почти до прозрачности, какія-то перегородки въ мозгу, и окружающее пріобрѣло особенную остроту и жуткость. Идя по бульвару, онъ ощутилъ внезапный страхъ и стиснулъ зубы. „Попелло-Козельскій, держись! Вокругъ ты видишь демоновъ.“

Вечеромъ онъ зашелъ по старой памяти въ актерскій ресторанчикъ, гдѣ, надѣялся, ему дадутъ пива и кусочекъ

хлѣба. Но метръ д'отель отказалъ, заявивъ, что и такъ онъ долженъ болѣе пятидесяти рублей. Попелло-Козельскій стоялъ передъ нимъ въ замасленномъ сюртукѣ, съ грязной манишкой, безъ манжетъ. Онъ былъ блѣденъ, и глаза его бѣгали и блестѣли.

— Я хочу ѣсть. Я голоденъ.

Въ мозгу же его вертѣлось: „Демоны, демоны!“ Его увидѣлъ знакомый актеръ и далъ пива и сыру. Попелло-Козельскій поблагодарилъ. Онъ сидѣлъ молча. Знакомому неловко было съ нимъ, не клеился разговоръ. По временамъ Попелло-Козельскій что-то бормоталъ про себя. Отъ пива голова его замутилась, и окружающее стало еще призрачнѣе.

Неожиданно въ ресторанчикъ вошла Сабанѣева съ молодымъ актеромъ, въ родѣ того, какимъ онъ былъ лѣтъ десять назадъ. Сабанѣева хохотала. Она выглядѣла совсѣмъ не молодой, сильно красилась, держалась развязно. Попелло-Козельскаго не замѣтила или сдѣлала видъ, что не замѣчаетъ.

Онъ всталъ и, указывая на нее, загремѣлъ:

— Призраки! Вотъ они, призраки!

Не поблагодаривъ товарища и не попрощавшись, вышелъ изъ ресторана. Онъ зналъ, что куда-то надо идти непремѣнно, по важному дѣлу.

Дойдя до половины Страстного бульвара, вдругъ увидѣлъ, что навстрѣчу ему бѣжитъ уличная дѣвушка. Другія бѣжали по тротуарамъ, и это происходило потому, что ихъ преслѣдовали полицейскіе.

— Господинъ, возьмите подъ руку! — крикнула дѣвушка и повисла на его плечѣ. — А то въ участокъ заберутъ,

— Да, — отвѣтилъ онъ. — Охотно. Я тебя знаю. Ты моя единственная любовь. Ты Офелія. Да, я всю жизнь ждалъ тебя. Ты ведешь меня къ счастію.

Дѣвушка была очень удивлена. Въ это время подошелъ околоточный и потребовалъ, чтобы она отправлялась въ участокъ.

— Это невозможно, — заявилъ Попелло-Козельскій спокойно. — Это та, кого я всю жизнь искалъ, и, вѣроятно, вы не знаете великаго артиста Попелло-Козельскаго, если думаете, что онъ такъ легко отдастъ свою любовь.

— Перестаньте, господинъ. Это безбилетная проститутка, и мы должны отправить ее въ участокъ. А вы разсказываете Богъ знаетъ что.

Тогда что-то хлынуло въ мозгъ Попелло-Козельскаго и смыло всѣ перегородки. Онъ бросился на околоточнаго. Если-бъ дѣвушка не удержала его, онъ бы, конечно, его ударилъ.

— Какъ?—кричалъ онъ.—Мнѣ не вѣрить? Мнѣ, потомку князей Попелло-Козельскихъ, лучшему Макбету міра? Кто вы, безумцы, ничтожества, жалкія души? Но я выше всѣхъ васъ. О, я знаю! Вотъ она со мной, я ее встрѣтилъ, наконецъ, все прошло! Я вижу свѣтъ, счастье, куда мы идемъ вмѣстѣ.

Онъ всталъ передъ ней въ грязь на колѣни, плакалъ и цѣловалъ ей руки.

— Боже, Боже! сколько я страдалъ, ожидая тебя!

Околоточный отправилъ его въ участокъ. Но поздно было поучать, или судить того, въ чьемъ мозгу клубился и переливалъ блескомъ и радугой новый міръ, столь же далекій отъ проститутокъ и участковъ, какъ и отъ нашей земли. Въ участкѣ поняли, что съ нимъ. На всякій случай, запирая на ночь, дали по затылку. Онъ не обратилъ на это вниманія. Всю ночь онъ находился въ восторженномъ бреду.

Когда на другой день его везли въ домъ умалишенныхъ, онъ радостно плакалъ. Было сыро, холодно, шелъ дождь. Но для него свѣтило солнце. Нѣжныя и свѣтлыя видѣнья являлись ему.

ЛЂТО

1. НАПИТОКЪ РАДОСТИ

Около четырехъ дверь пріотворилась, и просунулась бѣленькая головка моей племянницы Лизы.

Быстро луща подсолнухи, она обычной скороговоркой сказала:

— Дядя, поѣдемъ въ Луневку: дѣдушка посылаетъ къ Тимофею Семенычу, тамъ отъ косилки ножъ чинятъ, а всѣ на покосѣ, мнѣ не съ кѣмъ ѣхать. Дяка поѣди-имъ!

Мнѣ не очень хотѣлось, но я не отказывался.

— Ладно. А что же тетя Наташа?

— Она дѣвочку будетъ мыть, ей некогда-а, — крикнула Лиза, и унеслась на своихъ тоненькихъ, десятилѣтнихъ ножкахъ.

Кончивъ работу, я иду въ садъ обрѣзать яблони, влѣзаю съ садовой пилой на самые крайніе сучья, пилю, замазываю отрѣзы краской, слегка задыхаюсь отъ гимнастики, и надъ собой вижу то голубое и синее іюльское небо, что люблю вотъ уже двадцать пять лѣтъ.

Солнце, которое видѣло меня ребенкомъ, подъ которымъ я радовался, тосковалъ и страдалъ въ годы ранней молодости, заливаетъ и сейчасъ меня съ головы до ногъ. Отъ его лучей съ моего лба падаютъ капли „трудового“ пота, которыми я горжусь. Сухія вѣтки падаютъ, яблоня принимаетъ культурный видъ, и я торжествую. Потомъ придетъ ко мнѣ Наташа съ мохнатой простыней и съ дѣвочкой. Наша дѣвочка будетъ сидѣть подъ яблоней невдалекѣ, и по ея льнянымъ волосенкамъ пойдутъ пятна

свѣта. Наташа говоритъ, что вѣтеръ — это „патронъ“ дѣвочки. Правда, онъ любовно играетъ ея локонами, и ей это нравится. Быть-можетъ, онъ кажется ей живымъ существомъ, добрымъ духомъ, вродѣ расположенныхъ къ ней — матери, меня?

Дѣйствительно, я купался и на этотъ разъ, и даже Наташа мнѣ сказала, что не стоитъ ѣздить въ Луневку: можетъ-быть, придется ждать Тимофея Семеныча, можетъ, ножъ къ косилкѣ еще не готовъ, и прочее. Я согласился вполнѣ, и пошелъ купаться.

Но за вечернимъ чаемъ все повернулось по-иному: оказалось, что ножъ очень нуженъ, кромѣ насъ послать некого, и я вторично согласился. Теперь съ нами собралась и Наташа: дѣвочку она выкупала моментально, и въ началѣ восьмого у флигеля уже стояла сѣрая кобыла въ телѣжкѣ. Лиза въ красномъ клѣтчатомъ пальтишкѣ взгромоздилась было на козлы (она большая лошадница и любительница править: при этомъ — предпочитаетъ ѣзду шагомъ). Но я посадилъ ее къ Наташѣ, а самъ въ пыльникѣ и широкополой шляпѣ, напоминая отчасти псаломщика, и отчасти интеллигента, занялъ предсѣдательское мѣсто.

Наша сѣрая кобыла когда-то была молодецъ, а теперь становится все бѣлѣй отъ годовъ и слабѣе. Сначала я даже подумалъ, что придется ѣхать любимымъ аллюромъ Лизы. Но это оказалось невѣрнымъ. Старуха все же разошлась и показала, что кое на что еще годна. Мы проѣхали удачно черезъ Копенкино и выѣхали въ открытыя поля. Тутъ я подумалъ, что хорошо сдѣлалъ, вырвавшись изъ дому. Я довольно давно не былъ въ этой сторонѣ; вечеръ налаживался прелестный, было пріятно видѣть все это, и за моей спиной сидѣли милые люди: Наташа и Лиза, — большое дитя и маленькое.

— Ухъ ты-ы! Тека Натака, смотри-ка-а, у Муромцевыхъ рожь ужъ кося-ятъ! Жнейка, какъ у насъ.

Сейчасъ же она перескакиваетъ на другой предметъ.

— А у насъ мельникова собака подъ баней ощенилась, знаешь, черная такая бѣгала? Шесть щеняточекъ, хорошенькіи-и, ихъ почти ужъ всѣхъ разобрали.

— А я думала, что ты ихъ себѣ въ кровать стащишь, и вмѣсто собачонки будешь грѣть, изъ блюдечка молокомъ поить.

Лива хохочетъ и бьетъ ее кулачками.

— Ну ужъ ты, тека Натака, всегда! Шутница!

— Смотри, Наташа показываетъ на горизонтѣ три дерева. — Это идутъ три слона. А вонъ дубъ мамврійскій.

— Какой мамврійскій?

— Изъ Ветхаго Завѣта.

— Нѣтъ, тека, у насъ этого еще не проходили.

Такъ онѣ болтаютъ, а мы пересѣкаемъ большую дорогу и спускаемся въ „долину Луневки.“ Луневка — небольшая деревушка, изъ десяти дворовъ, расположена въ оврагѣ, и такъ запрятана, что, чтобы пробраться къ ней, надо переѣхать плотину прудика, подняться по косогору, спуститься опять, — однимъ словомъ, выписать чуть не восьмерку.

Изба Тимофея Семеныча, деревенскаго слесаря, механика и чародѣя по машинной части, въ самомъ концѣ. Мы узнаемъ ее потому, что сарайчикъ напротивъ носитъ всѣ слѣды его художественно-ремесленной дѣятельности.

— Дома Тимофей Семенычъ? — спрашиваю я молодого парня на крыльцѣ. (Онъ учтивъ и имѣетъ видъ бывшаго въ Москвѣ.)

— Сейчасъ выйдетъ!

По разсказамъ я знаю, что Тимофей Семенычъ сразу не выходитъ къ господамъ: онъ долженъ умыться, привести себя въ порядокъ и лишь тогда соблаговолитъ.

Это серьезный, хмурый старикъ, нѣсколько даже похожій на колдуна. Онъ не любитъ лишнихъ словъ, ревнивъ

къ своему искусству и не передалъ его даже сынамъ. Онъ знаетъ, зачѣмъ мы пріѣхали, и идетъ въ свою лабораторію. Мы снова ждемъ. Мы разсматриваемъ его избу, дѣтишекъ. Возвращаются со стадомъ овцы. Какъ и во времена моего дѣтства, мальчишка хватаетъ овцу за шерсть и тащитъ домой, какъ и въ давніе годы, баба выходитъ на крыльцо и зоветъ овецъ: „выть, выть, выть.“ По зеленой муравѣ шествуютъ гуси, малышъ стоитъ, заголивъ пузо. Гаснетъ дымнорозовый закатъ.

— Тимофей Семенычъ! — обращаюсь я къ подошедшему въ валенкахъ алхимику. — Дѣдушка завтра просилъ васъ къ намъ. Жнея шалитъ.

Это слово „шалитъ“ я выговариваю съ гордостью. Пріятно показать себя деревенскимъ человѣкомъ.

За моей спиной Наташа смѣшитъ ребятишекъ Тимофея Семеныча, гукаетъ на нихъ, строитъ рожи и показываетъ языкъ.

— Къ вамъ? — сурово спрашиваетъ Тимофей Семенычъ. — Значитъ, надо утромъ.

Я не настаиваю, что непремѣнно утромъ, и логической необходимости въ этомъ не вижу, но разъ онъ такъ говоритъ — пусть.

Мы укладываемъ въ ноги ножъ, я благодарю, и мы трогаемся.

Начинаетъ уже смеркаться. Возвращаются съ поля жницы и вязальщицы, въ грубоватыхъ перчаткахъ. Мы проѣзжаемъ у крайней избенки мимо палисадника мальвъ. Мужикъ сидитъ на лавочкѣ и поправляетъ косу. Деревня имѣетъ усталый, но спокойный, честный видъ, какъ человѣкъ, сдѣлавшій свое дѣло и отходящій на покой. Правя внизъ, по косогору, я думаю, что эта деревня, т.-е. не именно Луневка, но вообще русская деревня имѣетъ надо мной неотразимую силу. Сознательно я даже не люблю ея. Я съ ужасомъ думаю объ убогой и полуслѣпой жизни въ этихъ хибаркахъ, о тѣсномъ кругѣ интересовъ, замыкае-

момъ вонъ той рощицей на закатѣ; о вѣковомъ однообразіи этого бытія.

Но чья волшебная палочка обращаетъ эту же деревню, вечеромъ, съ появленіемъ первой звѣзды и мычаніемъ послѣдней коровы — въ истинную поэзію? Почему бьется мое сердце, свѣтлымъ волненіемъ волнуется душа?

— Вонъ Козловка, тетя Наташа, — Лиза показываетъ на сосѣднюю деревушку (мы уже выѣхали изъ ложбины). — Въ крайней избѣ Манька живетъ замужемъ, что у насъ служила.

— Видишь, избы все другъ къ другу прижались. Онѣ, какъ люди, вскочатъ и побѣгутъ.

— А вонъ облако, смотри, — болтаетъ Лиза, — какъ будто бы ты распустила волосы, только они у тебя розовые-е-е!

Дѣйствительно, по туманно-розовому закату потянулись чьи-то волосы. И вѣрно, избушки Козловки похожи на толпу сбившихся путниковъ. Вправо отъ насъ, въ сторону, обратную закату, золотисто-бѣлѣетъ рожь, а надъ ней темно-стальное, синѣющее небо. Какъ и мнѣ, двумъ сидящимъ сзади все тоже начинаетъ казаться волшебнымъ. Мы проѣзжаемъ мимо цвѣтущей гречихи, такъ густо забитой желтой сурѣпицей, что издали клинъ этотъ кажется полосой чьего-то огромнаго цвѣтника. Наташа нагибается, срываетъ пучокъ.

— У Бога такіе громаднѣйшіе сады, и это въ родѣ букета въ немъ. Смотри, а вотъ другой букетъ!

Это полоса неспѣлаго овса, вся прохваченная васильками. Да, другой букетъ Божьяго сада, въ смиренной русской странѣ.

Я правлю разсѣянно, но сѣрая сама знаетъ дорогу. Сзади я слышу обрывки разговоровъ: то Наташа смѣшитъ Лизу, то онѣ говорятъ серьезно, о томъ, что скоро пріѣдетъ изъ за границы Лизина мама, и какъ будемъ ее встрѣчать.

Потомъ почему-то Наташа спрашиваетъ Лизу, исповѣдывалась ли она, ходитъ ли зимой въ церковь. Лиза очень любитъ Наташу, и теперь сама ей сообщаетъ, что каждый вечеръ молится за покойнаго папу (онъ умеръ нѣсколько лѣтъ назадъ). Понемногу ихъ разговоры, надвигающійся лѣтній сумракъ, благоуханіе хлѣбовъ, даль равнинъ, звѣзда, вставшая прямо надъ дугой, все это начинаетъ для меня сливаться въ одно громадно прекрасное и ясное, чему имени нѣтъ, что дѣлаетъ сердце чистымъ, добрымъ и молодымъ, что изгоняетъ изъ него бѣсовъ, и даетъ вѣру. То, что называютъ колдовствомъ поэзіи. Но, быть-можетъ, — это дѣйствіе на насъ откровенія.

Въ Копенкинѣ уже ужинали, на открытомъ воздухѣ, у маленькихъ деревянныхъ столовъ. Мальчишка выѣзжалъ изъ пруда верхомъ на парѣ лошадей, купалъ ихъ. Проѣхавъ прудъ, я обернулся. Прудъ блестѣлъ теперь подъ закатомъ, какъ розовое зеркало.

— Смотрите, что за прелесть!

И онѣ тоже обернулись, и тоже глядѣли, а Лиза даже прихлопывала ручонками.

— Ужъ ты-ы, какой ясный прудъ!

Потомъ мы слушали перепеловъ, разбирали звѣзды, появляющуюся Медвѣдицу, смѣялись, Наташа научила Лизу сказать бабушкѣ: „Бабушка, у тебя на подолѣ грязь,“ — и когда та нагнется, отвѣтить: „Не кланяйся, — вѣдь, я не князь.“ Мы экзаменовали Наташу, куда ведетъ какая дорога, и говорили о разныхъ маленькихъ пустякахъ, которыхъ нельзя запомнить.

Что же мнѣ еще прибавить?

Мы пріѣхали во-время, совершенно благополучно, и дѣдушка, кажется, остался нами доволенъ. Съ четверть часа я пролежалъ въ темномъ паркѣ, въ гамакѣ, и надо мной качались звѣзды въ просвѣтахъ деревъ. Наташа была весела, Лиза сказала бабушкѣ про князя, и та сейчасъ же догадалась, кто ее научилъ.

Потомъ мы ужинали, потомъ наступила ночь и всѣ мы заснули, переходя въ новый день, ожидая новыхъ чувствъ, печалей или радостей.

2. КЛАДБИЩЕ ВЪ ДЕРЕВНѢ

Опредѣленной цѣли у насъ не было. Мы шли вечеромъ, на закатѣ, по большой дорогѣ. Дойдя до кладбища, мы вздумали вернуться лѣтникомъ.

Для этого нужно пройти вдоль кладбищенской канавы и подъ острымъ угломъ повернуть направо, на полузаросшую тропу. Мы рѣшили для сокращенія пути просто пересѣчь кладбище.

Но трудно пройти черезъ обитель мертвыхъ быстрымъ, равнодушнымъ шагомъ.

Наше кладбище небогатое и неказистое, какъ все вокругъ. На немъ растетъ нѣсколько березъ, ветелъ, рябинъ; иванъ-чай краснѣетъ по канавѣ; все оно густо заросло травой. Вокругъ — поля зрѣющаго хлѣба, поповская роща и церковь села. Видны внизу луга и покосъ на нихъ.

Мы прошли къ главнымъ воротамъ; вблизи ихъ, на небольшой почернѣвшей плитѣ, я прочелъ надпись:„Пріими, Господи, духъ его съ миромъ“ — одну изъ обычныхъ кладбищенскихъ надписей. Мы вспомнили, что гдѣ-то тутъ лежитъ учительница, шесть лѣтъ назадъ покончившая самоубійствомъ. Говорили, что у нея былъ несчастный романъ и ее вынуждали выйти за другого — нелюбимаго человѣка.

— Кажется, — сказала мнѣ Наташа, — въ томъ углу. Мы вернулись туда, откуда вошли. Здѣсь было просторнѣе, могилъ очень мало, и еще гуще разрослась трава.

— Не эта ли? — я подошелъ къ большой могилѣ, съ деревцомъ рядомъ.

— Нѣтъ, дерево слишкомъ большое. Я помню, мы воткнули тогда рядомъ ракитку.

Въ то лѣто насъ, молодежи, много жило въ усадьбѣ. Никто не былъ знакомъ съ дѣвушкой, но ея горькая смерть въ цвѣтѣ молодости, ея одиночество, то, что некому было даже ее похоронить, взволновало насъ, и на другой день послѣ погребенія мы снесли на ея могилу вѣнокъ изъ дубовыхъ вѣтвей съ рябиной: какъ бы лавры, окропленные кровью. А затѣмъ набросали цвѣтовъ на ея могилу. Наташа задумалась.

— Я помню, что мы вѣшали вѣнокъ на крестъ, небольшой, бѣлый, березовый. Какъ сейчасъ вижу.

— Не тамъ ли?

Я перешелъ къ другому холмику, съ похожимъ крестомъ. Но тамъ висѣлъ образокъ, и было написано имя усопшаго. Мы смутились. Потомъ бродили вправо и влѣво, подходили къ нѣкоторымъ возвышеніямъ, но такъ и не могли найти того, котораго искали.

— Да, пожалуй, что здѣсь, — я, наконецъ, остановился у безыменной могилки, гдѣ не было и намека на крестъ, не было и остатковъ вѣнка, не говоря уже о букетахъ. Но оба мы не повѣрили, сами не повѣрили находкѣ. Наташа взяла меня подъ руку.

— Трудно разыскать. Пойдемъ! да и сыро.

Дѣйствительно, солнце заходило. Въ густѣйшей травѣ показалась роса, мы медленно побрели къ лѣтнику, и отсюда видѣли, какъ на лугу, у мельницы, убирали сѣно. Это лугъ поповскій, и издали я разсмотрѣлъ крупную фигуру нашего батюшки.

Наташа спросила меня:

— Какъ думаешь, скосятъ они траву на кладбищѣ?

Я отвѣтилъ, что, пожалуй, да, хотя и странно это казалось на первый взглядъ.

Мы возвращались домой въ томъ настроеніи, какое всегда бываетъ послѣ кладбищъ: это не горе, не тяжесть.

Можно назвать его таинственной, пѣвучею меланхоліей. Мы вспомнили, что не всѣ уже тѣ, кто носилъ ей дубовый вѣнокъ и цвѣты — живы: мы не досчитывались близкаго намъ человѣка, котораго знали я съ дѣтства, а Наташа съ того времени, какъ мы съ ней встрѣтились. Сложилъ онъ свои кости далеко на югѣ, въ безоглядной калмыцкой степи, и похороненъ вблизи русской церкви. Намъ вспомнилось и то, что теперь, по послѣднимъ извѣстіямъ, его могила вошла въ церковную ограду и охраняется: былъ онъ врачъ, и оставилъ по себѣ добрую память.

— Все-таки, — сказала Наташа, — я не хотѣла бы, чтобы меня похоронили на этомъ кладбищѣ. Лучше-бы въ Москвѣ, въ Новодѣвичьемъ.

Это — нѣсколько ребяческая мысль: не все ли, вѣдь, равно, гдѣ лежать? Но и я поймалъ себя на ней. И я желалъ бы получить вѣчное успокоеніе въ городѣ, съ которымъ такъ тѣсно связаны наши жизни, гдѣ живутъ тѣ, кого мы любимъ, гдѣ мы хоронили близкихъ намъ. Мнѣ пріятно вспомнить о бѣлоголовомъ соборѣ, перезвонѣ колоколовъ, вольномъ вѣткѣ, налетающемъ съ Воробьевыхъ горъ.

И понемногу нашъ разговоръ перешелъ на Москву, на друзей, знакомыхъ, на предстоящую зиму. Сгущался вечеръ, показался блѣдный мѣсяцъ. Подъ нимъ протянулась фіолетовая тучка.

Въ усадьбу мы вернулись къ ужину. За ужиномъ, какъ всегда, болтали, смѣялись; тѣни вѣчности отошли отъ насъ. Мы забыли объ учительницѣ, объ умершемъ нашемъ другѣ и ожидающей насъ судьбѣ.

А черезъ нѣсколько дней, снова передъ закатомъ, мы проѣзжали въ экипажѣ мимо кладбища. Я поднялъ голову. Вся трава была чисто и ровно скошена; по кладбищу стояли копны сѣна. Про себя я слегка улыбнулся. „Да, — скосили. Зачѣмъ же пропадать травѣ, выросшей хотя бы на нашихъ ближнихъ?“

Но прибавлю, что кладбищенскій покосъ не показался мнѣ ни страннымъ, ни кощунственнымъ. Напротивъ, въ той простотѣ, съ какой скосили сѣно въ этомъ таинственномъ для насъ мѣстѣ, въ этой простотѣ была, быть-можетъ, вѣра: и, во всякомъ случаѣ, очень покойное, довѣрчивое отношеніе къ Богу и природѣ.

Мнѣ припомнились наши разговоры о томъ, что лучше быть погребеннымъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, чѣмъ здѣсь. Сейчасъ — не оспаривая своихъ собственныхъ желаній — я подумалъ, что земля одинаково приметъ насъ, величественно и простодушно, будемъ ли мы лежать въ Москвѣ, здѣсь или въ далекой степи. Ибо одинъ, и безмѣрно великъ, живъ, святъ и могущественъ міръ Бога живого.

СОДЕРЖАНІЕ

	Стр.
Усадьба Ланиныхъ	7
Изгнаніе	71
Вечерній часъ	99
Елисейскія поля	131
Грѣхъ	139
Студентъ Бенедиктовъ	191
Актерское счастье	213
Лѣто	233

PG
3470
Z23
1922
kn.3

Zaĭtsev, Boris Konstantinovich
Sobranie sochinenii

PLEASE DO NOT REMOVE
SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY